



Гвардовский
Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Твардовский без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10803331

Твардовский без глянца ; [сост., вступ. ст. П. Фокина].: Амфора; Санкт-Петербург; 2010

ISBN 978-5-367-01473-0

Аннотация

Книга продолжает серию документально-биографических повествований о самых ярких русских писателях XIX–XX веков. Тщательно отобранные и скомпонованные цитаты из воспоминаний современников, а также из дневников и писем А. Т. Твардовского дают возможность увидеть сложную и богатую натуру поэта в разные периоды его биографии.

Содержание

Русский богатырь в советском поле	5
Личность	10
Облик	10
Гардероб	14
Характер	16
Нрав	19
Особенности поведения	22
Свойства ума и мышления	26
Собеседник	28
Читатель	31
Жизненные принципы и установки	33
Крестьянский сын	36
Садовод	40
На отдыхе и в домашней обстановке	42
Песельник	44
Привычки и склонности	48
Едок	50
Недуг	53
Дело	55
Творчество	55
На литературном посту	60
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Твардовский без глянца

Сост. Павел Фокин

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2010

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2010

* * *

*Посвящаю памяти деда Георгия Исидоровича Максидонова,
бабушки Марии Андреевны Степаненковой и всех моих смоленских
предков*

Русский богатырь в советском поле

Что-то былинное есть уже в самом названии места, откуда родом Твардовский, – Загорье. Хотя какие уж там горы в Смоленской-то губернии! Не Кавказ и не Альпы. А вот поди же! Среди болот да лугов и холм – гора! Особенно в детстве. И манит неведомый мир за той горой, и кажется, что под силу одолеть все трудности, все дали. Не сидеть же с мамкой да младшими братьями в тесной избе, маяться от избытка сил и душевной смуты. Так и выходит в свой путь богатырь – подвиги совершать, биться со злою силою, с чужеземной нечистью, служить стольному князю верою и правдою.

Красив, силен, начитан был молодой Александр Твардовский – лицом Алеша Попович, статью Добрыня Никитич, духом Илья Муромец. Только вот попал не в сказку заветную, на Русь Святую, православную, а в сказку новую, которую еще предстояло сделать былью, в Страну марксистско-ленинских Советов, сталинских пятилеток, повсеместной коллективизации и всеобщей индустриализации.

Не смутился добрый молодец. Окинул взором ясным поля колхозные, дымы заводские, флаги кумачовые, внял чутким ухом гулы строительные, грохотание тракторное, призывы партийные, улыбнулся светло – понравилось! Всем сердцем прильнул к делу общему, утвердительному. Затянул песню смелую, бодрую.

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стенки блестят.
Хорошо заживем мы семьею
Здесь на новый советский лад.

А в углу мы «богов» не повесим,
И не будет лампадка тлеть.
Вместо этой дедовской плесени
Из угла будет Ленин глядеть.

И все бы славно, да только новый мир стал вдруг богатырю нашему загадки нерешимые ставить, испытывать ум и совесть. Отца, что всю жизнь трудным и скудным заработком многодушную семью кормил, из нужды в нужду мыкавшегося, «кулаком» (читай: врагом) оклеймили, разорили, в Сибирь выслали. Вместе с ним мать безответную, братьев невинных, сестер малолетних – всех счетом восемь душ! – по этапу отправили. Неладный какой-то получился для семьи «новый советский лад».

Не смутился, однако, и тут юный богатырь. Негоже по сторонам оглядываться, когда впереди заря новой жизни поднимается – всему люду российскому счастье и благоденствие суля.

Поют над полем провода,
И впереди – вдали –
Встают большие города,
Как в море корабли.

Поют над полем провода,
Понуро конь идет.
Растут хлеба. Бредут стада.
В степи дымит завод.

Серьезен был не на шутку Александр. Работал усердно. Учился основательно. Написал поэму – «Путь к социализму». Написал повесть – «Дневник председателя колхоза». Женился, когда пора пришла. В столицу подался – с новой поэмой: о счастье колхозном, о победах трудовых, о далях светлых. О попах лживых, о кулаках злобных, о нищих и убогих единоличниках. Словами простыми, обиходными рассказал, стихи сложил речью немудреной, обыденной, строем доходчивым и правдивым; поведал бесхитростно обо всем, что знал, что видел, о чем мечтал. Негромко, но внятно. И слышали. Признали. Одобрili. Двадцативосьмилетнего студента наградили орденом Ленина!

Тут и сказке конец. Пригнул выю добрый молодец, оковали его ласки княжеские, одурманили речи партийные. Богатырь стал Большевиком, сменил доспехи на партбилет, стреножил коня буланого путами идеологии. Успешно окончил московский Институт философии, литературы и истории, зажил *советским поэтом*. Получил Сталинскую премию. Был готов к труду и обороне, тем более что время наступило грозное, предвоенное. Поэт-орденоносец, молодой коммунист, верный ленинец не мог оставаться в стороне.

И бог весть как сложилась бы дальнейшая его участь, если бы не грянула Великая Война. Именно в эту пору появляется на свет тот, кому суждено будет сберечь честь Поэта-Богатыря, – Василий Тёркин. Он возник на страницах армейской газеты – солдатский сморух и забавник, потешающий бойцов во время редкого фронтового досуга. Ему была уготована судьба лубочного героя, бесхитростного и безличного. Но случилось иначе.

Война вместе с бедой и горем, вместе с невзгодами и лишениями принесла с собой новый взгляд на мир. Точнее, прежний, исконный, позабытый в годы социалистического строительства. Взгляд *смертного* человека. Однажды живущего. Однажды любящего. Однажды гибнущего. Не колхозника, не коммуниста, не ударника. Не кулака, не беспартийного, не саботажника. Творца и хозяина – исполнителя и раба. Равно могущественного и бесильного, гордого и покорного. Стоящего рядом с Богом и зверем. Между Богом и зверем. Не сразу это стало ясно, но чем дольше длились испытания, чем глубже разверзалась бездна смертоносного хаоса, тем отчетливее проступали извечные истины и дороже становилась каждая минута прожитой жизни.

Крестьянский сын, рядовой Василий Тёркин не мог на этой войне быть шутком-затейником. Он стоял лицом к лицу с противником, и слишком многое зависело от него, от его физического здоровья, спокойствия, хладнокровия, сообразительности, от его понимания смысла и целей борьбы, от его чувства правды. Но поэтому-то и не мог пехотинец Василий Тёркин быть бессмысленным оптимистом, верящим на слово простаком, слепым исполнителем приказов. Он о Войне знал все.

Твардовский это понял раньше своих товарищей по перу. Он понял, что о Войне нужно писать только правду и только теми словами, какими говорит о ней боец, дни и ночи живущий на войне – на фронте и в тылу, в бою и на привале, в госпитале и в отпуске, но всегда на войне, всегда в войне, даже во сне, даже в предсмертном бреду – на войне. Эти слова просты. Эти слова скупы. Они чужды всякой лжи. Они – от сердца, они – из души.

Где было их взять советскому поэту?

Твардовский и сам с ранней поры радел за ясность и чистоту образов, за живой, осмысленный и достоверный язык поэзии, и тем не менее задача была непростая. На Войну он пришел в ином чине, с иным социальным и психологическим опытом, нежели безвестный рядовой, вызванный по повестке сложить свою голову где-нибудь подо Ржевом. Мало было понять Василия Тёркина, нужно было забыть Александра Твардовского.

И мы можем говорить сегодня о настоящем подвиге поэта, преодолевшего себя и ставшего Василием Тёркиным. Он, творец, мог заставить Тёркина думать *свои* мысли, смотреть на мир *своими* глазами, давать происходящему *свои* оценки, но он заставил *себя* смотреть

на мир глазами Тёркина, слушать *его* мнение, доверять *его* поступкам. И вместе с ним обрести свободу. И рядом с ним – видеть себя. И пытаться понять. Уникальность и значение такого опыта поэт чувствовал сам. «Книга эта, – писал Твардовский жене в апреле 1945-го, завершая работу над «Василием Тёркиным», – неразрывно связана с ходом войны, ее этапами. Она не такая, какие будут или могут быть написаны потом. Она вместе с ней, войной, шла, исходя из нее и сплетаясь с ней».

Спустя несколько лет в «Автобиографии» Твардовский скажет: «„Книга про бойца“, каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. „Тёркин“ был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем – воюющим советским человеком – моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».

Война вместе с гибелью и разрухой, вместе с горечью и гневом принесла с собой живительный воздух свободы. О нем с предельной выразительностью напишет товарищ Твардовского по фронтовой газете Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», читая который Твардовский испытает истинное потрясение. Этот воздух свободы напугает Сталина, поспешившего отправить в лагеря тех, кто еще вчера шел в бой, выкрикивая его имя.

Что было делать со свободой советскому поэту?

Пожалуй, после Войны настал самый трудный период в литературной биографии Твардовского. Недаром работа над новой поэмой, в которой автор мечтал предстать во всей силе своего таланта и мастерства, затянулась на десять лет. Он понимал, что, избрав долю гражданского поэта, он не вправе промолчать о трагедии ГУЛАГа, но он столь же отчетливо понимал и то, что он не способен написать «Тёркина в лагере» – для этого нет у него ни личного опыта, ни верных слов, ни смелости.

И все же предпринял отчаянную попытку: сделав героем новой поэмы себя, он отправился на восток – в Сибирь, край ссыльных и каторжан. Но при жизни Сталина дальше Урала Твардовский «уехать» не смог. Да и потом, уже после ошеломившего страну XX съезда, развенчавшего давешнего «Отца народов», он мучительно искал слова, чтобы сказать о главном, и захлебывался в недомолвках и перифразах, отворачивался в сторону, находя на что посмотреть – на новые стройки, на эпические панорамы мест, на людей! «За далью – даль» писалась с большими перерывами, с колоссальным напряжением интеллектуальных и нравственных сил. Истина разжигала поэта, но огненного глагола не рождалось.

Разговор случайных попутчиков – не та тональность для решения «проклятых вопросов». И неслучайно, встретив на полустанке друга детства, отбывшего в лагерях немалый срок, поэт не знает, что и как сказать, смущенно перебирает ненужные слова, только что погоду не обсуждает. В этой *полунемой* сцене безжалостной правды, пожалуй, больше, чем во всей поэме в целом. Встретились не просто два друга, разлученные временем, встретились два мира, две России, разделенные участью и долей – сытый и голодный, хозяин и работник, принц и нищий. Эпизод ключевой, который должен был стать моментом истины, прозрения и покаяния. К сожалению, весь последующий *внутренний монолог* героя, после того как они наконец опять расстались, двигаясь каждый своим и уже не «крутым» маршрутом, – попытка осмыслить случившееся – не выдерживает никакой критики и невозможен к оправданию:

И, не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною.
Я ведал все. И хлеб тот ел.

В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисходной, –
Да, я с ним был, как он со мной.

Он всюду шел со мной по свету,
Всеми причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость бывал в Кремле...

Увы, не пламенеющий Словом шестикрылый серафим руководил странником, одолевающим «пустыню мрачную» в купейном вагоне –

Мне правда партии велела
Всегда во всем быть верным ей.

Твардовскому, конечно, хотелось быть *советским пророком*, но драма в том, что такой феномен немислим ни в системе христианских реалий и категорий, ни в стране победившего социализма. Послеоктябрьская культурно-пропагандистская практика поменяла смыслы и значения многих слов, но отменить изначальное их содержание не могла. И не только *про-рок* был чуждым советскому строю явлением (и *не работал* в этих условиях пушкинский завет!), но даже и более скромный некрасовский *гражданин* выпадал за скобки (за колючую проволоку!) тоталитарного государства. В безоговорочной наготе предстала эта истина перед Твардовским, когда он пришел главным редактором в «Новый мир».

«Возвратившись» из дальних странствий, не распрямив еще спины, но уже подняв глаза от долгу, он принимается за труд, который выведет его к свету. Одному ему произнести слово правды оказалось не под силу, и он решил соединить усилия тех, кому также не давали покоя совесть и долг. Природное богатство духа и врожденную жажду справедливости без остатка вложил Твардовский в руководство журналом. Собрал единомышленников, вступил в бой с ложью и бездарностью, сошелся в единоборстве с цензурой. Не гнушался и ежедневного рутинного труда, читая и выискивая в потоке рукописей те, в которых звучал мужественный голос честного человека.

В огромном, напрочь зашоренном пространстве партийной пропаганды он пробороздил пахотный надел живого слова. Парадоксальным образом пригодился и весь ранее накопленный капитал советского поэта – и орден Ленина, и Сталинские премии, и депутатство в Верховном Совете, и членство в ЦК (заслужил-таки свои награды Василий Тёркин!). Тяготившая Поэта социальная сбруя помогала Редактору вести журнал. Территория правды неизменно прирастала; усохшая было, затравленная идеологическими удобрениями почва русской литературы под редакторским плугом Твардовского вновь ожила и стала приносить полноценные плоды.

И тогда пришел тот, кого так долго ждал Твардовский, ради которого он столько трудился, кому расчищал дорогу. Тот, кого Анна Ахматова назвала «светоносец». Встреча с рукописью «Щ-854» была судьбоносной – для ее автора, Александра Солженицына; для Твардовского, поэта и гражданина; для журнала «Новый мир» и его читателей; для Страны Советов и ее руководства. Для России, обретшей своего пророка.

Трудный и счастливый 1962 год – год публикации в «Новом мире» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – стал для Твардовского переломным: богатырь расправил плечи, отряхнул путы духовные, презрел словеса лживые. Повесть Солженицына

на страницах «Нового мира» – высший творческий акт Твардовского. Богатырский. Сопоставимый с «Книгой про бойца». В тот час, когда Твардовский поставил свою подпись под одиннадцатым номером журнала, он был *соавтором* Солженицына. И пусть позже их пути разошлись, но состояли они уже навсегда в одной рати и изменить ей не могли. Это был вызов системе – грозному и лютому Тугарину Змиевичу, во всей славе его и власти, подчинившему себе миллионы душ, утрачившему землю русскую.

Как было советскому поэту бросить вызов советскому строю?

Предстояла неизбежная борьба с самим собой. Или гибель.

И гибель.

Выбора не было. Твардовский взялся за невозможное.

Что проще может быть:

Не лгать.

Не трусить.

Верным быть народу.

Любить родную землю-мать,

Чтоб за нее в огонь и в воду.

А если –

То и жизнь отдать.

Что проще!

В целости оставим

Таким завет начальных дней.

Лишь от себя теперь добавим:

Что проще – да.

Но что сложнее?

Его последняя поэма «По праву памяти» не увидела свет не только в советской печати (а ведь его всегда печатала многомиллионная «Правда» и не менее авторитетные «Известия»), но даже в «родном и живом» «Новом мире». Поэма вышла за рубежом – смертельная рана для советского поэта.

Твардовского призвали к ответу.

– Нужно выразить отношение.

– Так это же получается как с Солженицыным. А я, хоть и считал и считаю, что исключение Солженицына грубейшая ошибка, я не Солженицын.

– Вот именно!

Богатырь опустил меч.

«Не через призму своей автобиографии (хотя от автобиографичности не уйти и нет нужды мне уходить) отразилось историческое время в моей поэме. Оно отразилось в полном согласии с решениями партийных съездов и документов, определяющих линию партии в этом вопросе, вплоть до последнего из них – статьи в „Правде“ „К 90-летию И. В. Сталина“».

И щит.

Последовала отставка с поста главного редактора. Вскоре болезнь накрыла Твардовского. Декабрьским утром 1971 года богатырь уснул вечным сном. В Стране Советов началась зима.

Павел Фокин

Личность

Облик

Орест Георгиевич Верейский (1915–1993), художник, иллюстратор произведений *А. Т. Твардовского* («Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью – даль» и др.), фронтовой товарищ и многолетний друг поэта:

«Кто-то очень точно сказал о его внешности: „Помесь красной девицы с добрым молодцем“». [2; 179]

Михаил Васильевич Исаковский (1900–1973), поэт, многолетний друг *А. Т. Твардовского*:

«Это был стройный юноша с очень голубыми глазами и светло-русыми волосами». [2; 55]

Федор Георгиевич Каманин (1897–1979), детский писатель, товарищ юности *А. Т. Твардовского*:

«Сначала мне показалось – парень как парень, блондин приятной внешности и крепкий костью. Вот только на лице у него была какая-то задиристость». [2; 82]

Адриан Владимирович Македонов (1909–1994), геолог, писатель, друг *А. Т. Твардовского с юношеских дней*:

[1928] «Высокий, стройный сельский юноша, „загорьевский парень“, красивый красотой некоторых деревенских гармонистов и вместе с тем еще чем-то бóльшим и необычным. Ясно-голубоглазый, с открытым лицом, часто освещавшимся такой же ясной, доверчивой, даже простодушной и вместе с тем одухотворенной улыбкой. Да, именно светилась и в улыбке, и во всем обличье, и в разговоре природная одухотворенность, народная интеллигентность. И ясные глаза смотрели иной раз с глубинной пристальностью, пронизательностью, для восемнадцатилетнего парня совсем необычной; подчас чувствовалась в них и некоторая настороженность, испытующая, критическая наблюдательность деревенского человека, которому все внове в непривычной городской среде и все интересно, но который ко всему относится с полной самостоятельностью, независимостью, свободой. И который был исполнен напряженным трудом души». [2; 103]

Иван Трифонович Твардовский (1914–2003), брат *А. Т. Твардовского*, мемуарист:

«Он предстал передо мной совсем не похожим на того загорьевского юношу, каким был год-два назад. Вид его ничем не напоминал, что он „сельский“, и я опять подивился его способности выглядеть горожанином не только по одежде, но и по манере держать себя». [2; 32]

Дмитрий Павлович Дворецкий (1908–1998), поэт, писатель, журналист:

[1932] «Склонившись над столом и сцепив свои сильные пальцы, он смотрел на меня исподлобья. Глаза круглые, светлые, немигающие. А на высоком лбу гармошка из мелких морщин. Смотрел неотрывно, словно проводил гипнотический сеанс». [2; 65]

Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992), поэтесса:

«Была в нем какая-то основательность, цельность, надежность. И еще запомнилась особенная чистота, опрятность всего его облика. Не городская какая-то опрятность, – так опрятны бывают крестьянские дети, вымытые и прибранные к празднику; так бывает опрятен дышащий особенной свежестью и чистотой крестьянский дом отменной хозяйки. Он был очень хорош собой – эдакий добрый молодец из русской сказки, очень спокоен, лишен всякой суетности. Скорее он был застенчив, но если иных застенчивость заставляет суетиться, то его она делала только сдержаннее и достойнее». [2; 387]

Лев Адольфович Озеров (1914–1996), *поэт, переводчик, литературовед, мемуарист, сокурсник А. Т. Твардовского по Институту философии, литературы и истории (ИФЛИ):*

[1937] «Белая голубизна его глаз была первым заметным его признаком, его отличием. Таких глаз не приходилось видеть. Твардовский часто морщил свой высокий лоб, и на лице тогда изображалось смущенное недоумение, желание понять собеседника, не быть ему в тягость. Брови удивленно, как-то по-детски, вскинуты. Это еще более открывало взгляд, в котором было много упрямого желания понять окружающее, застенчивость и гордость. Косая прядь светлых волос падала на лоб, и Твардовский иногда легким и изящным, иногда сумрачно-потужливым или резким жестом вскидывал их вверх, и они на несколько мгновений укладывались на место». [2; 115]

Вениамин Александрович Каверин (1902–1989), *прозаик, мемуарист:*

«Впервые я встретил Твардовского весной 1941 года в Ялте. <...> Он был очень хорош собой, белокурый, с ясными голубыми глазами». [2; 328]

Орест Георгиевич Верейский:

«Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадалась в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго. Подвижные брови иногда удивленно приподымались, иногда хмурились, сходясь к переносью и придавая выражению лица суровость. Но в очертаниях губ и округлых линиях щек была какая-то женственная мягкость». [2; 179]

Аркадий Михайлович Разгон:

«Александр Трифонович был очень похож на свой портрет, сделанный в 1943 году его товарищем по редакции, художником Орестом Верейским. Худощавый, подтянутый, с пристальным взглядом, с копной мягких русых волос, падающих на высокий лоб, – таким я тогда впервые увидел Твардовского». [2; 211]

Наталья Павловна Бианки (1916–2000), *журналист, в 1950–1960-е годы сотрудница «Нового мира», зав. редакцией, мемуарист:*

«1945 год. Сентябрь»

<...> Да и сам он очень ладный: высокий, стройный. Непонятно только, почему он до сих пор в военной форме? Из-за короткой стрижки, светлых волос и прекрасного цвета лица выглядит совсем молодым. <...>

1948 год

Состоялся пленум Московской писательской организации. <...>

Вдруг в проходе появился какой-то человек – в коричневом тулупе, в меховой шапке. Чем-то он напоминал Твардовского. И лишь взглядевшись в показавшееся молодым одутло-

ватое лицо с бледно-голубыми глазами, я поняла, что передо мной и впрямь Твардовский. Но ведь <...> прошло не так уж много лет, а как он постарел!» [1; 22–23]

Владимир Яковлевич Лакшин (1933–1993), *литературный критик, писатель, журналист, член редколлегии журнала «Новый мир» при А. Т. Твардовском, возглавлял отдел критики, в 1967–1970-е годы – заместитель главного редактора:*

«Большой, высокий, крупный, медвежье в фигуре что-то. В плечах широк, чуть сутулится, голова крепко пришита к телу. Сразу, едва войдя, он заполнял собой комнату – у комнаты появлялся центр. Сколько бы ни было в ней людей – все силовые линии располагались мгновенно к нему, все о него намагничивалось». [4; 135–136]

Федор Александрович Абрамов (1920–1983), *прозаик, очеркист, публицист:*

«Большое, по-бабьи пухлое лицо, но собранные, плотно сжатые губы и холодные зимние глаза, которые и видели тебя и не видели. Да, у него был странный взгляд. Взгляд ястреба, вкогтившегося в тебя, и в то же время устремленный куда-то далеко, в только ему открывшиеся дали». [12; 266]

Иван Алексеевич Симонов (1910–1982), *прозаик, детский писатель:*

«Неторопливая, но спорая походка. Широкий овал лица. Взгляд внимательный, приглядывающийся и раздумчивый». [2; 249]

Константин Яковлевич Ваншенкин (р. 1925), *поэт, прозаик, мемуарист:*

«Его лежащие на коленях руки были крупны, широкопалы, лицо непроницаемо». [2; 236]

Юрий Петрович Гордиенко (1922–1993), *поэт, переводчик:*

«В последний раз я видел Твардовского в его кабинете в редакции „Нового мира“, на Пушкинской. Он поднялся навстречу и приветил меня радушнее прежнего. Печать усталости лежала на его лице, и нечто старческое было уже в морщинках по углам губ. Светлее обычного, как бы выцветшими от виденного, были его и всегда-то не густого, а как бы рассеянного цвета глаза. Посветлела еще больше и проредилась седина, раньше как-то и не замечаемая вовсе». [2; 210]

Аркадий Михайлович Разгон:

[Начало 1960-х] «Я не видел Твардовского шестнадцать лет. Александр Трифонович погрузнел, поседел, взгляд его был по-прежнему острым, а глаза еще более посветлели». [2; 217]

Алексей Иванович Кондратович (1920–1984), *с 1958 года заместитель А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира», мемуарист, биограф А. Т. Твардовского:*

«Он старел стремительно и в пятьдесят лет уже выглядел значительно старше своего возраста». [3; 137]

Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981), *прозаик:*

[1969] «Александр Трифонович вернулся из больницы где-то в сентябре, скорей всего – в начале сентября. <...> Он постарел резко, это бросалось в глаза. Двигался медленно, голову держал слегка опущенной, как бы постоянно понутив, отчего весь облик принял непривет-

ливое, чуждое выражение. Какая-то стариковская согбенность – вот что выражал его облик, и это было так дико, так несуразно и несогласно со всей сутью этого человека!» [13; 24]

Алексей Иванович Кондратович:

«И неожиданно, и горько-печально стал внешне молодеть, когда смертельно заболел и с лица спало все лишнее и в нем вновь проступили щемящие черты далекого, молодого, тридцатилетнего. До слез трудно было глядеть на это молодящееся, но уже готовое к отходу лицо...» [3; 137]

Федор Александрович Абрамов:

[4 июля 1971] «Это не Твардовский. Это какой-то совсем другой человек.

Стриженная плешивая голова, высохшее продолговатое лицо, тонкие бледные руки, высохшие ноги в китайских коричневых штанишках... Не то живая мумия, не то какой-то восточный монах, иссушенный долгими постами и молитвами». [12; 231]

Гардероб

Евгений Аронович Долматовский (1915–1994), *поэт*:

«Твардовскому любой костюм был к лицу и по фигуре <...>». [2; 141]

Василий Тимофеевич Сиводедов (1905–?), *товарищ детства А. Т. Твардовского*:

[1923] «К внешнему облику юного поэта могу добавить, что одет он был скромно, но вполне прилично. На нем была гимнастерка защитного цвета, с нагрудными карманами. Брюки, видимо, содержали примесь шерсти, так как на них были отчетливо видны следы уютной глажки. Обут он был в ботинки, которые в наших местах называли „бульдо“». [2; 15–16]

Михаил Васильевич Исаковский:

[1927] «Одет был Саша в куртку, сшитую из овчины. Шапку он держал в руках». [2; 55]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Александр Трифонович взглянул на фотографию, признал себя, улыбнулся. <...> Снят он совсем молоденьким деревенским пареньком, и в кепке – не зря, это казалось высшим шиком в Загорье. Снимаясь, он нарочно ее с головы не стянул». [4; 114]

Николай Капитонович Павлов (1910–1986), *прозаик, журналист*:

[1928] «В начищенных штиблетах, темно-синем костюме и сероватого цвета рубашке выглядел он вполне городским, знающим себе цену интеллигентом». [12; 169]

Дмитрий Павлович Дворецкий:

[Июнь 1932] «<...> В комнату вошел Твардовский. Был он в белой, скромно вышитой, заправленной в брюки косоворотке. Воротник полурасстегнут, рукава засучены до локтя». [2; 63–64]

Лев Адольфович Озеров:

[1937] «Твардовский <...> появлялся в институте в своем темно-синем, а потом и светло-сером костюме, чистом, хорошо отутюженном и ладно сидевшем на нем, будто это не сельский житель, а джентльмен. Он любил голубые рубашки. Галстуки менялись не часто, но всегда гармонировали с костюмом и рубашкой. Он не допускал небрежности. Был подтянут и носил портфель, в котором не было студенческой тесноты, все лежало на своем месте. Все его воспринимали как человека молодого, но уже по-своему солидного». [2; 114]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

[1950-е] «На нем был темный костюм, голубоватая рубашка под галстуком, грубые, на толстой подошве, ботинки, скорее башмаки, какие тогда носили (время отказа от калош)». [2; 236]

Иван Алексеевич Симонов:

«...Рослый, плечистый мужчина в зимнем прямого покроя пальто с темным отложным воротником, в меховой шапке-ушанке. На ногах вместо привычных в те годы валенок ботинки». [2; 249]

Федор Александрович Абрамов:

«Большой, крупный, в длинном, черного сукна пальто с серым каракулевым воротником, в пышной, глубоко надетой шапке из коричневой ондатры». [12; 266]

Вячеслав Максимович Шугаев (1938–1997), прозаик:

«По заснеженным половицам веранды заскрипели шаги, и кто-то постучал. Вошел Твардовский. В пыжиковой огромно-пушистой шапке, в черном длинном пальто с серым каракулем. На черном хорошо выделялись полосы снега, примятые варежками или перчатками, – отряхивался перед порогом. В руке объемистая кошелка». [2; 490]

Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2009), прозаик:

«Снял Твардовский зимнее полупальто – оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, напоминавшее покроем и видом те бобриковые, по воспоминанию ему знакомые, и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу <...>. Он сидел, расставя полные, в лыжных брюках, колени, ноги обуты в суконные ботинки на „молнии“, которые он донашивал за городом; он вообще старые вещи свои донашивал. Не потому, что они стоили что-то, а не мог выбросить вещь, раз она еще годна». [2; 513–514]

Вячеслав Максимович Шугаев:

«Твардовский пришел через два дня. Был в сером простецком полупальто, в лыжных коричневых штанах, с ореховой палкой-посошком – завернул к нам, должно быть, с прогулки. Когда разделся, оказался в коричневой же домашней куртке с такими шну- рочно-витыми петлями». [2; 491]

Аркадий Михайлович Разгон:

[Начало 1960-х] «Одет он был в серый костюм, в рубашку с отложным воротником – на улице была удушающая жара». [2; 217]

Орест Георгиевич Верейский:

«<...> Для меня образ Твардовского не вяжется с городским его обличем. Наши отношения сводились больше к ситуациям, когда он бывал или в гимнастерке, как в годы войны, или в расстегнутой куртке, свитере, ковбойке, ватнике – его обычной одежде дома и в поездках». [2; 187]

Федор Александрович Абрамов:

«Помню хорошо общую атмосферу (на даче в Пахре, 1966 год. – *Сост.*). Как сидели, что ели, что пили. Как выглядел Твардовский. Просто одет. В китайских брючках чуть ли не с ремешком из сыромятной шлеи, в дешевой рубашке с закатанными по локоть рукавами и расстегнутым воротом, из которого выглядывала полная шея, в растоптанных туфлях. Тюбетейка суконная, простая, подаренная каким-то кавказцем. Это не опрощение, не кокетство». [12; 224]

Алексей Иванович Базлаков (1925–2009), художник, мемуарист:

«Черная куртка со стоячим глухим воротником придавала ему строгость. Носки поверх брюк, почти до колен, удлиняли фигуру. И голова с большой кепкой, чуть наклонившись, держалась высоко. Вид у него был внушительный, монументальный. Палка, на которую слегка опирался, придавала равновесие, устойчивость». [2; 530]

Характер

Лев Адольфович Озеров:

«Это был подчас ершистый, колючий, иронический человек, трудный для самого себя, но очаровательный в минуты радости и редкой удовлетворенности сделанным и достигнутым. Конечно, он знал себе цену, у него было сложное чувство собственного достоинства, которое некоторым казалось гордыней, этакой „шляхетской“ неприступностью. Но поставленные им перед самим собою задачи в русской литературе и общественной мысли были столь высоки, что только по ним одним он соразмерял свою жизнь и свои свершения». [2; 116]

Федор Александрович Абрамов:

«В Твардовском уживались самые противоречивые черты.

Крутой, бешеный нрав. Бесцеремонность с подчиненным. Как высадил Саца посреди дороги только за то, что тот, по мнению Твардовского, неуместно пошутил.

Дистанция между собой и людьми. Некоторая чопорность. Но когда в настроении – нет краше человека его. Волга, большая река в весеннем разливе». [12; 262]

Алексей Иванович Кондратович:

«Ему была свойственна повышенная, может быть, даже чрезмерная эмоциональность, <...> за какой-нибудь час настроение у него менялось от взрывов ярости до упоенного, самозабвенного смеха и глубокая задумчивость буквально через минуту-другую выливалась в интереснейший монолог о чем-либо очень существенном в жизни или литературе, но тут же телефонный звонок – и уже Твардовский другой, веселый или закипающий от гнева, в зависимости от того, что ему говорят на другом конце провода». [2; 347]

Иван Трифонович Твардовский:

«Брат Александр имел какое-то свойство своей натуры, не позволявшее при нем вести себя не только развязно, но и просто раскованно, без напряжения или какой-то доли смущения. Это я чувствовал с детства. И не один я, но и все наши родные, близкие, за исключением, может быть, только отца. Могу смело сказать, что все мы любили его, но наши встречи с ним никогда не были легкими, свободными, снимающими нервную напряженность». [2; 31]

Вениамин Александрович Каверин:

«<...> Между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это было связано с прямодушием Твардовского. Из гордости он не желал скрывать свои мнения». [2; 328]

Лев Адольфович Озеров:

«Внешне он был выдержан, спокоен, старался быть уравновешенным, что называется – владел собой. Но надо знать, какой ценой далось ему это. В нем была большая скрытая сила. Встретив человека, он начинал не с недоверия к нему, а с пристального приглядывания: в душе прикидывал дистанцию, на которую надо было впускать того или иного человека в свою жизнь. Эта дистанция диктовалась, разумеется, не утилитарными, не меркантильными соображениями, а выработанными с детства в крестьянской среде понятиями о человеческом достоинстве». [2; 116]

Алексей Иванович Кондратович:

«Твардовский трудно и медленно сходилась с людьми, это, кажется, отмечают все, кто знал его. И причиной тому не недоверчивость – он был начисто ее лишен, – пожалуй, он был слишком доверчив и по первой встрече чаще всего переоценивал человека. Сколько из-за этого пережил потом разочарований в людях, порой тяжких. Он был открыт, хотя далеко не нараспашку, был прекрасным собеседником, легко вступал в любой разговор, но при всей общительности круг близких ему людей всегда был невелик». [3; 154–155]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал ее от жизни.

Он был жаден до новостей, и новостей добрых. Бывало, сложится в редакции тревожный, невеселый день. А. Т. сидит за столом в кабинете, сигарету в руках мнет, табак сыплется на пиджак, глаза настороженно, недобро щурит. Обдумывает что-то, и пока твердо для себя не сформулирует, вслух не скажет.

Но вот приходит кто-то с доброй вестью, или просто симпатичный человек набежит, разговорит, пошутит, – и А. Т. рассмеется вдруг от души, видно решив про себя, что дела не так уж и худы.

Были у него любимые цитаты-присловья на эти случаи.

– Погадаем-поглядим, что нам скажет Никодим. (А Никодим что-то помалкивает, – частенько добавлял он.) <...>

Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей – хороших вестей. А если узнавал что невеселое, но привычное, говорил со смешком, крутя головой:

Ну, спасибо, ямщик. Разогнал
Ты мою неотвязную скуку.

Он охотно обольщался посулами радости и добра. И при всем своем здравом и скептическом уме был легковверен к доброму». [4; 142–143]

Лев Адольфович Озеров:

«Честолюбие его было глубоко упрятым, корневым, крепким». [2; 121–122]

Юрий Валентинович Трифонов:

«Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях». [2; 477]

Федор Александрович Абрамов:

«Твардовский был подозрителен и доверчив, поддавался на нашептывание». [12; 263]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Может быть, не был он лишен смолоду тщеславия, наверное даже не лишен, но по тому, как он отказывался от всяких почестей и славословий, в том числе в юбилейные свои дни, видно было, что он в себе это отжил». [4; 166]

Федор Александрович Абрамов:

«В Твардовском было сильно развито приспособленчество... Но он побеждал в себе раба. При всем при том – дай бог второго Твардовского. Он вышел победителем из схватки с системой подкупа, захваливания, лжи...» [12; 260]

Владимир Яковлевич Лакшин

«Неопределенности он не любил и частенько вспоминал присловье капитана из романа „Моби Дик“: „Вперед, и к черту в пекло“». [5; 261]

Нрав

Лев Адольфович Озеров:

«На себе испытал я, что отношение Твардовского к людям было очень неровным. Всегда трудно было сказать, когда он приласкает, когда обидит, даже оскорбит. Он был неизменно верен своему душевному состоянию, а оно менялось, как погода перед весной, — то повеет теплом, то снова хмурь и непогодь. Ему мучительно трудно было „властвовать собой“, а так хотелось. В нем все время что-то боролось, что-то брало верх, потом „западало“, с тем чтобы снова оказаться на поверхности». [2; 122]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Помню отчетливо конец жаркого летнего дня, и как, словно созрел этот день, золотело небо к горизонту, и как шли мы через поле той самой тропинкой с Александром Фадеевым и Александром Твардовским. Они отдыхали неподалеку в санатории, я приехала из города, условившись о встрече с Александром Александровичем, но они встретили меня вдвоем, и мы пошли знакомой тропинкой на знакомую прогулку. Твардовский был оживлен, даже весел, даже беспечен — он не часто бывал таким, — видимо, хорошо поработал с утра и весь как-то рассвободился, расковался, и было удивительно легко и радостно находиться рядом с ним.

Он шутил, хохотал, перебивал нас, весело комментировал скудные литературные новости, привезенные мной. А когда подошли к реке, внезапно решил купаться.

— Жаль, нет полотенца, ну да ничего, мигом обсохну. Теплынь-то какая! Грех не искупаться.

Он отошел в сторонку, за густые кусты, и очень скоро мы услышали плеск воды и его восторженные возгласы, обращенные к нам. Мы отвечали не менее восторженно и так перекликались несколько минут. Но вдруг что-то случилось, что-то нарушило весь наш предвечерний мир. В наш веселый покой вторглись совершенно посторонние, непонятные звуки... Кто-то свистел и отвратительно, пронзительно кричал. Оглянувшись, я увидела, что с песчаного косогора, увязая в песке и спотыкаясь, бежит милиционер, взопревший в своей гимнастерке, красный, злой, разъяренный. Притихли мы с Фадеевым, притих Твардовский в реке, недоумевая, прислушиваясь, пытаюсь понять, что, собственно, стряслось.

Ясность наступила скоро: вне себя от ярости, чертыхаясь и тыкая, милиционер ругал Твардовского за то, что он купается в недозволенном месте. Оказалось, что в этих местах купаться нельзя, рядом Рублевское водохранилище, не знаешь, что ли, и за это знаешь, чего тебе будет?! Смущенный и притихший Твардовский озадаченно поплыл к берегу и скрылся за кустами, куда уже добрался и kloкочущий милиционер. До нас доносились только их голоса.

— Придется идти на выручку, — багровея, поднялся Фадеев.

Мы пошли по берегу, в обход кустов. Но по мере приближения я ощутила снова какую-то перемену. Твардовский, который только что смущенно оправдывался, теперь кричал возмущенно и гневно, а лепетал и оправдывался милиционер. Мы недоуменно переглянулись: что произошло?

— Нет, вы только подумайте! — едва мы приблизились, кинулся к нам Твардовский. — Я, оказывается, не там, где положено, в воду полез. Ну, виноват, ну, простите, ну, больше не буду. Но ему, видите ли, документы подавай. А у меня их нет, не захватил, в санатории остались. А он тут сразу стал извиняться: простите за беспокойство, с ходу не разобрал, что к чему. А как его разберешь, когда человек в трусах? И в чем тут, собственно, разбираться? Раз уж нельзя купаться, так и нельзя. Так вот нет, оказывается. Оказывается, кому

нельзя, а кому и можно. Черт-те что! Только что орал: „Эту воду люди пить будут, куда купаться полез...“ А теперь, выходит, купайся, пожалуйста, тебе можно, ты чистенький... Ах ты... Каково? Вы подумайте!

Мы с трудом его уняли, кое-как урезонили вконец растерявшегося милиционера – он решительно не мог понять, за что на него теперь кричат, ведь он уже извинился и отступился. А Твардовский успокоиться не мог, и наши попытки свести всю эту историю к шутке так ни к чему и не привели». [2; 385–387]

Федор Александрович Абрамов:

«— Есть предложение посмотреть „Тёркина“, тем более что, по моим сведениям, его скоро прикроют, – сказал однажды Александр Трифонович, когда мы сидели за столом у Александра Григорьевича (Дементьева, заместителя Твардовского на посту главного редактора. – *Сост.*) на веранде. (Кстати, так оно и случилось. Спектакль вскоре перестал существовать.) <...>

И вот на другой день мы в театре... Вечер был на редкость теплый. И я явился в легкомысленной шелковой бобочке кремового цвета.

Это был мой просчет. Александр Трифонович, а значит и Александр Григорьевич явились в парадных костюмах, при галстуках. И Твардовский, помню, хмуро и недоуменно посмотрел на меня с высоты своего барского великолепия.

Но самая моя большая провинность в тот вечер – дремота. Александр Трифонович, надо полагать, спал эти ночи, и Александр Григорьевич тоже часа три-четыре отбивал, а я не спал. Впечатления сжигали мою душу. И вот теперь, в театре, на меня навалился сон.

Я тер щеки, рвал себя за уши, слюнявил глаза – ничего не помогало. Голова то и дело падала на грудь. Ничего не видел. Все силы – не заснуть.

Александр Трифонович – он сидел в середине – ничего не сказал. Но я для него перестал существовать. В антракте... было ужасно. Поскольку мы пришли вдвоем, я вертелся около Александра Трифоновича и Александра Григорьевича. Но он не взглянул на меня... не разговаривал, не замечал.

Твардовский умел разить словом. Но тут он наказывал меня молчанием, презрением, и это было страшнее всякого разноса.

Подходили люди, знакомые, почитатели, многие смотрели на меня – что это за человек тут вертится. А Александр Трифонович – ноль внимания. Казнь презрением, равнодушием». [12; 227]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«<...> От обиды он вдруг мог стать капризным и ограниченным в своем человеческом внимании к другому человеку». [2; 406]

Константин Михайлович Симонов (1915–1979), поэт, прозаик, драматург, общественный деятель:

«Твардовский как-то заехал ко мне домой в том иногда посещавшем его настроении, когда он любил задираться и по делу, и без дела, поддевать собеседников, притом привыкнув, что это в таких случаях сходит ему безнаказанно. В ту пору я уже стал редактором „Нового мира“, и у меня сидела в гостях одна из сотрудниц журнала, бывшая моим другом еще с юных лет, со студенческой скамьи.

Вскоре после прихода Твардовского мы вдвоем поспорили о каких-то напечатанных в журнале стихах, и Твардовский остался в этом споре в одиночестве. Не знаю, уж почему это его так задело тогда, но он, вдруг прервав спор, сказал что-то уничижительное о моей гостье. Что-то вроде того, что можно было и не спрашивать о ее собственном мнении, после

того как ее начальство, то есть я, уже высказалось. Это было обидно, а главное – настолько несправедливо, что я, поманив за собой Твардовского из комнаты в коридор, сказал, что ему нужно сейчас же пойти и извиниться.

Он долго молча, недоверчиво смотрел на меня, словно не понимал, как ему могли сказать такое, не ослышался ли он. Потом, поняв, что не ослышался, повернулся, надел шапку и ушел. Когда через несколько дней мы встретились с ним, ни я, ни он не вспомнили о происшедшем, – видимо, обоюдно сочли это лишним. И все-таки потом, при других обстоятельствах, Твардовский счел нужным сам вспомнить об этом.

Прошло много времени, редактором „Нового мира“ был уже не я, а Твардовский, и та сотрудница журнала, из-за которой вышло у нас когда-то столкновение, уже несколько лет работала в „Новом мире“ вместе с Твардовским. Я зашел по каким-то своим делам в „Новый мир“, и вдруг Твардовский среди разговора о совсем других вещах, ничего не уточняя и не напоминая подробностей, посмотрев на меня, сказал:

– Как выяснилось, ты был прав тогда насчет... – он назвал имя-отчество. – А я был неправ.

Сказал и вернулся к прерванному разговору». [2; 372]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Очень он памятливым был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но запомнит». [2; 511]

Вячеслав Максимович Шугаев:

«Видел я его и во гневе. Он пришел днем, когда я был один. Сначала разговор тянулся довольно вяло, но, постепенно воодушевившись, Александр Трифонович с жаром заговорил о том, что подлинный эпос в прозе и поэзии под силу поднять только мужику, выходцу из мужиков... Что-то дернуло меня, и я вклинился в его горячую речь, напомнив, что и графу это под силу. Он бешено, прозрачно округлил глаза – зеленоватые иглы, брызнувшие при этом, показалось, физически укололи меня в переносицу, в лоб, в щеки. Он побледнел, немедленно вспотел от гнева, и, хоть ничего не говорил, я понял: как я смел перебивать?!

Он сдержался, так ничего и не сказал, устало махнул рукой:

– Да, да. И графу, конечно». [2; 500]

Федор Александрович Абрамов:

«Раз вечером мы с Дементьевым пошли провожать Твардовского. Вдруг на дороге завопили собаки – дементьевский пес и какая-то сука.

Твардовский кинулся их разнимать. Бесстрашно. И это меня немало удивило. Собак он разнял, но одна из них укусила Твардовского за палец...

Я бросился выражать сочувствие, хотел проводить его. А он вместо благодарности зверем взелся, закричал на меня: уйдите!» [12; 226]

Особенности поведения

Евгений Аронович Долматовский:

«Ему было чуждо все показное. Военная форма скульптурно сидела на нем без каких-либо усилий с его стороны. Он любил шутку, но презирал сальности и пошлость. В его присутствии не рассказывали анекдотов – робели. Он никого не отчитывал, не поучал, но умел резко осадить, больно ударить коротким и единственным, как бы вскользь сказанным, словом. Был он колюч, непримирим, и некоторые из нас начинали разговор с ним с тайной опаской. Объективность требует сказать, что не всегда Александр Твардовский был справедлив по отношению к окружающим. Предубеждения его возникали порой без видимой причины и без достаточных оснований». [2; 149]

Орест Георгиевич Верейский:

«Те немногие, кого он называл своим другом, знали устойчивость, прочность его дружбы. Однако это не значит, что к друзьям он бывал снисходителен. Нет, его бескомпромиссность, нетерпимость к человеческим слабостям, ко всякой фальши, несправедливости, лицемерию не давали спуска никому. Он умел жестоко высмеять, как выстегать, ранить словом, не делая при этом разницы между близким другом и человеком сторонним». [2; 180]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«Я не раз слышал, как он говорил „ты“ (и, разумеется, они ему) Исаковскому, Тарасенкову, Луконину и другим друзьям и товарищам старше, моложе его или ровесникам.

Но он никогда не обращался на „ты“ к тем, с кем он не был на „ты“, как у нас порой водится. Он не желал, чтобы ему отвечали тем же, исключал самую возможность подобного казуса.

Иные старшие писатели обращаются к младшим на „вы“, но только по имени. Разумеется, здесь нет ничего худого, если тех это устраивает. Но он никогда и этого не делал. Лишь два раза за все годы знакомства, в долгом застолье, он назвал меня Костей.

В нем и внутренне, и внешне очень ярко проявлялось чувство достоинства». [2; 240–241]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Он очень следил за своим поведением и речью – как человек застенчивый, ставший по судьбе общественным и бывший на виду, то есть со множеством людей пересекавшийся: ничего лишнего, нет слов пустых – и это сообщало ему величавость.

Издали он мог показаться даже высокомерным. <...>

Лишенный внешнего лоска, он обладал вместе с тем врожденным тактом и почти аристократической воспитанностью. Сын смоленского крестьянина, он свято чтит все формы, обиходы и понятия вежливости. В том, как он здоровался, как прощался, учтиво склоняя голову чуть набок, глядя в глаза собеседнику и протягивая с легкой улыбкой широкую ладонь, была какая-то даже чуть церемонная уважительность. Она равно распространялась на Маршала Советского Союза, члена английского парламента, посетившего редакцию, и на старушку-уборщицу Ксению Гавриловну, заглянувшую в дверь, чтобы спросить: „Стаканы свободны, Александр Трифонович?“

Можно утверждать даже, что он культивировал формы вежливости, понимая, по-видимому, дело так, что эти внешние знаки человеческого общения, пускай сугубо условные, – путь к навыкам взаимной уважительности.

Выговаривал кому-то: если тебе позвонили по телефону, а тема разговора исчерпана и надо прощаться, ты не можешь первым сказать „до свидания“ – разговор кончает тот, кто тебе звонит.

От чужой грубости, неделикатности он страдал иной раз почти физически, но ничто в его величавой фигуре и серьезном округлом лице не выдавало этого». [4; 140–141]

Федор Александрович Абрамов:

«Твардовский ценил жизненный опыт вообще, отсюда его влечение, его дружба с людьми, которые намного его старше (Маршак, Соколов-Микитов)». [12; 248]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Но вообще-то он с людьми сходилась трудно, и в его отношениях с ними часто сквозило некое отчуждение, отстраненность». [2; 393]

Алексей Иванович Кондратович:

«Когда он появлялся на людях, высокий, невозмутимый, чуть ли не величественный, он и впрямь мог показаться недоступным, а когда, тоже на людях, он задумывался, уходил в себя, – а это бывало часто, даже на шумных собраниях, – то и тут, встретившись с его отсутствующим взглядом, могло показаться, что у него своя, замкнутая от других людей жизнь и проникнуть в нее нелегко. Да так оно и было, своя внутренняя жизнь – и еще какая! – была, мысль его постоянно и сосредоточенно работала над тем, что его волновало, только эта жизнь несколько не была замкнутой. И не был он неразговорчивым, как раз любил поговорить; и не был недоступным, он с очень многими общался и переписывался, а скольких держал в памяти и о скольких вспоминал, а уж что касается мрачности, то ведь юмор, пронизывающий всю его поэзию, не одного „Тёркина“, – это ведь его юмор, и какой хохот сопровождал часто деловым и неделовым встречам, когда там находился Твардовский». [2; 347]

Юрий Валентинович Трифонов:

«Александр Трифонович был ровен, проницателен и как-то по высшему счету корректен со всеми одинаково – с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны ему как редактору в его отношениях с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались». [2; 483]

Федор Георгиевич Каманин:

«Я уже знал, что Твардовский был на редкость добр. Правда, помогал он не каждому, а тем, к кому у него душа лежала, так сказать, избирательно. Да ведь так и все добрые люди делают... Помогал он и мне, когда мне было зело туго. <...>

И вот однажды я пошел к Твардовскому. Жил он тогда на улице Горького.

Дверь открыл сам хозяин. В коридоре было темновато, но хозяин все же мигом меня разглядел и узнал.

– А-а, заходи, рад тебя видеть, – приветствовал он меня. – Снимай пальто, проходи ко мне. <...>

И я вкратце излагаю ему суть дела. А в это время как раз по коридору проходила хозяйка, Мария Илларионовна, которую я тоже с трудом разглядел <...>.

– У нас дома деньги есть? – спрашивает Твардовский у жены.

– Да. Сколько тебе нужно? – отвечает ему Мария Илларионовна.

– Рублей пятьсот найдется?

– Найдется.

– Тащи их сюда.

Мария Илларионовна пошла за деньгами.

– Саша, – говорю я ему, – я тебе их верну при первой же возможности.

– А я тебе при первой же возможности в ухо дам, – ответил он мне. – Бери и молчи.

А если обедняю, обращаюсь.

И он вручил мне пачку кредиток, которую принесла ему Мария Илларионовна». [2; 89–90]

Мустай Карим (1919–2005), башкирский поэт, прозаик, драматург:

«При следующей встрече я в самом благодарном позыве хотел ему вернуть долг. Он остановил меня, сказав: „Как же нам с вами быть? Не возьму – вас обижу, возьму – себя обижу. Да к тому же была реформа, они в десять раз подешевели...“ – „Подешевели те, а не эти“, – возразил я, но больше не настаивал. Наверное, ему так надо было. Позже, когда он меня узнал ближе, я как-то шутя вспомнил о своей задолженности, за что он пригрозил мне: „Я вас могу в долговую яму загнать...“ – „А две реформы?!“ – отпарировал я. „Реформы проходят, долги остаются, – вдруг серьезно заключил он. – Они не списываются...“». [2; 534]

Наталья Павловна Бианки:

«Получив от Твардовского задание устроить ужин в ресторане, мы с Кондратовичем отправились в „Прагу“. Пятидесятилетие – дата нешуточная. С метрдотелем долго обсуждали меню. Хотелось заказать еду повкуснее и при этом не тратить очень большую сумму, хотя денег у нас было предостаточно. Когда часть денег я вернула, Твардовский, очень огорченный, сказал:

– Я же просил не экономить...» [1; 35]

Вячеслав Максимович Шугаев:

«...О деньгах как о предмете серьезном и существенном в жизни литератора говорил не то чтобы часто, но всегда с живою, если можно так выразиться, философической заинтересованностью». [2; 501]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Охотно помогая людям во всем, в чем мог, он люто ненавидел заниматься тем, что было сопряжено с хождением по инстанциям, с бюрократической возней. Мы с Казакевичем решили помочь одной старой писательнице, несчастной женщине, помешавшейся на гибели сына, которой она не могла и не хотела поверить, все дожидаясь его возвращения с войны. Тут уж ничего нельзя было поделать, но ко всему она жила в ужасных условиях, и прежде всего следовало помочь ей с жильем. Проще всего было построить кооперативную квартиру, и такая возможность представлялась, но нужны были деньги. Мы решили собрать их. Люди охотно откликнулись на нашу просьбу. Пришла я и к Твардовскому. Начала излагать ему суть дела и увидела, как он испугался, какие у него стали горестные и растерянные глаза. Решил, что я буду его просить обращаться в Моссовет. А когда узнал, что все сводится к деньгам, обрадовался и отвалил сумму вдвое большую, чем та, на какую я рассчитывала. Он был щедр, весело щедр, чувствовалось, что ему доставляет радость быть щедрым, иметь возможность быть щедрым». [2; 409]

Аркадий Михайлович Разгон:

«У него была привязанность к своим личным вещам, с которыми он неохотно расставался, и то только тогда, когда эти вещи приходили в полную негодность». [2; 213]

Орест Георгиевич Верейский:

«Он вообще относился с недоверием ко всяким бытовым новшествам. Долго не хотел пользоваться электробритвой, косо поглядывал на женщин в брюках, иронически относился к изменчивости моды в одежде, как не признавал всякую моду в быту, в искусстве и литературе. Но тут его никак нельзя было обвинить ни в косности, ни в консерватизме, скорее наоборот – он видел дальше и глубже многих». [2; 190]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Он спокойно переносил боль, не прислушивался к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду, – кажется, пытался косить или копать». [2; 522]

Алексей Иванович Кондратович:

«...» Разговоров о болезни он не любит.

Летом ... (1966 года. – *Сост.*) он неожиданно попросил меня приехать к нему на дачу: „Кладут в больницу. Не можете ли вы приехать, надо бы обсудить кое-какие дела“. Я видел его последний раз дня три назад, он был весел, здоров, ни на что не жаловался. На даче он встретил меня, с трудом поднявшись из кресла. Ноги его были в теплых зимних носках и в калошах. „Что с вами?“ – испугался я. „Ноги распухли, – сказал он спокойно. – В ботинки не влезают, пришлось вот калоши надеть. – И засмеялся. – Еле нашли эти калоши, кто же их теперь носит“. – „Да что у вас все-таки?“ – „Какой-то облитерирующий эндартериит. Курить, говорят, нельзя... И вообще говорят – надо немедленно ехать в больницу. Требуют даже расписку, что я сегодня поеду, грозят, что может начаться гангрена...“ – „Как гангрена?“ – „Да так... Ноги почернели и болят. Сильно болят“. Он снял носок с одной ноги, и я ахнул: полступни лилово-синие, темно-синие, черные, вся ступня опухшая. „Другая нога такая же?“ – спросил я, вконец перепугавшись. „Да, и другая такая же. Вот и жду машину. А пока она не подъехала, давайте поговорим...“

В тот же день его увезли в больницу, а через несколько дней, заехав туда, я застал его за столом, он что-то писал, и в пепельнице было полно окурков. Перехватив мой взгляд, он с досадой махнул рукой на пепельницу: „Ах, это... Так все, что я писал, – писал с табаком. Куда уж теперь бросать...“ И нашел оправдание: „Тут лежат с этой болезнью и некурильщики...“

С тех пор ноги у него болят часто, но он никогда не жалуется на боль, а если уж очень больно, встанет посреди дороги или ... на лестнице, постоит минутку и тронется дальше. Но ведь за минуту боль не проходит...» [2; 348]

Мария Илларионовна Твардовская (1908–1991), жена А. Т. Твардовского, публикатор и биограф поэта:

«То, что казалось ему только личным, что составляло глубинную жизнь души, не часто выносилось наружу. Это закон народной жизни. Он соблюдался им до конца дней». [2; 102]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Быть естественным всегда и везде невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и занят был делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью». [2; 520–521]

Свойства ума и мышления

Владимир Яковлевич Лакшин:

«...» Его отличал непрерывный, поразительный для наблюдения со стороны труд мысли, ее живое строительство. Каждое сильное впечатление заставляло его многое пере-думывать, в нем шла постоянная, без пауз и пустот, работа нравственного сознания.

Иногда с новизной личной находки он делал для себя простые, самоочевидные открытия. „Я только сейчас понял...“ – обычное для него присловье, когда он вернется из какой-нибудь поездки или прочтет что-то важное для себя. Он двигался с каждой новой книгой, с каждым интересным знакомством, с каждым хорошим разговором. «...» Чем дальше, тем меньше он склонен был верить кому-либо на слово и не позволял своей мысли скользить по изведенному». [4; 165]

Алексей Иванович Кондратович:

«Это очень характерно для него – постоянно возвращаться к тому, что его сильнее всего поразило или заинтересовало сегодня ли, вчера ли, и осмысливать поразивший его факт с самых разных сторон, причем этот факт может вызывать у него сложные и далекие ассоциации». [2; 359]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Ему было свойственно народное здравомыслие, редкий инстинкт правды. Сколько раз приходилось наблюдать на разного рода обсуждениях, когда все кругом наговорят с три короба, напугают друг друга, запутаются, а он помалкивает да курит. А потом, взяв слово, неожиданно находит простое и безупречное решение, казалось бы, неразрешимому вопросу. Были у него, конечно, и предрассудки, усвоенные со своим временем и средой, но как он радовался, когда сам или с чьей-то помощью перерастал их и от них освобождался, как ветхую кожу сбрасывал. «...» А. Т. обладал свойством каждое свое ощущение, невнятное чувство доводить до ясности, до понимания, почему нравится или не нравится, и тогда уж сбить его было невозможно». [4; 166]

Сергей Павлович Залыгин (1913–2000), прозаик, журналист, общественный деятель:

«Может быть, это и странно, но я не могу сказать, много ли Александр Трифонович помнил стихов, своих и других поэтов. Зато что касается прозы, он удивлял меня необыкновенно.

– Значит, тут у вас о том, как шумит лес, да? Слышу, правда, слышу я, как шумит ваш алтайский кедр. А вот послушайте-ка, как это происходит у Мельникова-Печерского. Короленко – это вы, наверное, помните, а Печерского, подозреваю, что не очень, да? Ну вот...

Александр Трифонович прикрывает глаза, кладет руки на стол и медленно начинает говорить текст. Одну минуту, другую...

– Неужели все вот так и помните, Александр Трифонович?

– Все не все, а что читал недавно и с наслаждением, то помню...

Каюсь, я потом забежал в библиотеку, проверял – так ли?

Все было так. Во всяком случае, я не обнаруживал заметных для себя отступлений от текста». [2; 279–280]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Твардовский был редкостно внимателен к тому, что его интересовало, на художественное в особенности. Через годы мог восстановить слово за словом памятный чем-то разговор, воспроизводил мельчайшие подробности в давно прочитанной рукописи. Цитировал большими кусками не поэзию только (Пушкина и Тютчева помнил отлично, Некрасова мог читать наизусть из любого места), но прозу, в особенности толстовскую и бунинскую. Запоминал понравившиеся ему выражения и, если употреблял услышанное в разговоре, считал долгом сослаться: „Это я у вас позยчил“.

Но память его была избирательна. То, что его не занимало, он „отмысливал“, или, попросту, пропускал мимо ушей». [4; 167]

Собеседник

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«Приятно было видеть его лицо, слышать его говор, своеобразный, слегка белорусский, что ли. Он говорил „изящно“. А какой он был собеседник, рассказчик! С какой живостью, подробностями он говорил о детстве, о деревне, о тонкостях печного или кузнечного ремесла. Это было так же сочно, как и в его стихах: „И прикуривает, черт, от клещей горячих“.

У него было такое качество: о чем бы он ни рассказывал, это приобретало характер значительности». [2; 239]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«...» В его присутствии рождалось впечатление чего-то значительного: никакой будничности, пошлых пустяков. Он мог посмеяться остроумной анекдоту, но сам анекдотов не рассказывал. Серьезность его не была надутостью, он легко отзывался на шутку и сам любил пошутить весело, озорно. Но это никогда не роняло его, не казалось мелким, не снижало полета». [4; 143]

Лев Адольфович Озеров:

«В складе речи и в произношении чувствовался житель северо-запада России, Смоленского края. В разговоре Твардовский исходил от истоков. Без особых специальных напоминаний в собеседнике возникало ощущение того, *откуда* он и *кто* он. Деревня Загорье, станция Починок были уже для меня местом, обжитым памятью, вниманием, облюбованным, важным для уроженца этих мест. Мне было интересно, я бы даже сказал – захватывающе интересно, вслушиваться в его речь, в интонацию ее, чувствовать не только, что он говорит, а как говорит. Речь у него была чистая, живая, родниковая речь интеллигента из народа, который мог в равной степени беседовать с односельчанами и с профессорами. <...>

Точность выражения у Твардовского стояла на первом плане. В этой точности воплощалась и красота выражения». [2; 115]

Евгений Захарович Воробьев (1910–1991), прозаик:

«Сам он радовал слух удивительно точным отбором слов, построением фраз, был воинственно нетерпим ко всякого рода пустословию, косноязычию, бюрократическим оборотам речи. Он мог в разговоре насупиться, помрачнеть не оттого, что услышал плохие новости, а лишь потому, что собеседник говорит клишированными, канцелярскими словами». [2; 158]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Ему была свойственна особая чуткость к складу и уряду речи, редкая целомудренность слова, даже в разговоре. Шла обычная застольная дружеская беседа – и вдруг: „Ох, как плохо, отвратительно, пошло я сказал“, – сморщившись, будто от зубной боли, простонал Твардовский.

А ничего особенного он, смею верить, не сказал, просто воспользовался одним из тех банальных или неловких словосочетаний, каких обыкновенно избегал.

Твардовский никогда не употреблял таких слов актерского жаргона, как „наив“, „волнительно“, или выражений: „на полном серьезе“, „я сражен этим известием“, „сильное переживание“ и т. п. У него не повернулся бы язык вымолвить псевдонародное словечко, проникшее в литературный обиход: „задумка“, „грустинка“, „смешинка“, или воспользоваться

редакторским штампом: „состоялся как писатель“, „высветлить этот образ“, „творческий поиск“. <...>

В речи Твардовского не было слов-паразитов, всех этих „так сказать“, „вообще“, „как говорится“. Она как бы усвоила строгий синтаксис письменного слога, не пренебрегая иной раз и канцеляризмами („по части...“, „при наличии...“, „в отношении...“), звучащими иронически-торжественно. Но была перевита множеством живых просторечий и старинных слов („до поры“, „покамест“, „особливый“), редких, забытых, употреблявшихся в белорусско-смоленском обиходе и очень выразительных в его устах речений. <...>

Его обычные присловья по разным случаям жизни: „Стыдобушка!“, „Хоть худое, да другое“, „Сижу в тепле, в сухе...“, „Девять гривен до рубля не хватило“ и т. д. и т. п.

Твардовский мог употребить в разговоре – в целях живописности или забавы ради – соленое мужицкое словцо, но лишь тогда, когда оно как бы просилось в силу особой выразительности и никогда не имело оттенка ерничества». [4; 170–171]

Франц Николаевич Таурин (р. 1911), *прозаик*:

«Я встретил его на Пушкинской площади, возле агентства Аэрофлота. Он шел, по-видимому, из редакции и, как я почувствовал, был в отменно хорошем настроении.

Остановились, поздоровались. Он спросил, как дела.

А у меня были какие-то нелады по работе, и я поделился с ним своими огорчениями.

И тогда он сказал мне с веселым озорством:

– Ничего, Франц Николаич. У нас, белорусов, есть поговорка: „Пережили лето горяче, переживем и г... собаче!“ – и махнул рукой, словно напрочь отбрасывая всякие невзгоды». [2; 311]

Лев Адольфович Озеров:

«Интересовало Твардовского не только современное звучание русского слова. Стиль старинных писаний увлекал его. Так, занимаясь историей древнерусской литературы (в студенческие годы. – *Сост.*), Твардовский остановил свой взгляд на „Житии протопопа Аввакума“. Я слышал, как он читал отдельные страницы этого жития, с каким пониманием говорил о ритмике и синтаксисе старинной повествовательной фразы – периоде. Он собирался этим заняться специально, но не знаю, удалось ли ему в дальнейшем это сделать.

В разговоре, когда был не в настроении, он владел интонацией главным образом вопросительной: „Ну как там твое Останкино?“ (об общежитии), „Ну как там твои новаторы?“ (о Хлебникове и Маяковском). Вопросительная интонация была одновременно и восклицательной, потому что в тоне вопроса содержался уже частичный ответ. За этой интонацией мне всегда слышалась внутренняя тревога Твардовского, его неудовлетворенность собой. Он отлично владел интонацией рассказчика, повествовательной, добротной, степенной, неторопливой». [2; 116]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Человек скорее скрытный, во всяком случае неизменно сдержанный и никак не склонный к пустой болтовне, он иногда, очевидно, испытывал потребность выговориться. Может быть, это было знаком его доверия, может быть, – так мне иногда казалось, – он таким образом, в такой форме старался помочь человеку, не касаясь непосредственно сложных душевных обстоятельств другого, подсказать ему пути и решения. Вмешательство в чужие дела было ему совершенно не свойственно, он был глубоко деликатен и осторожен в отношении других людей». [2; 391]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Речь Твардовского дышала неторопливым достоинством. Он любил хороший разговор, но начинал откровенно скучать от болтовни. Когда к нему обращали ординарный вопрос: „Как поживаете, Александр Трифонович?“, он отговаривался всегда как-то по-своему, мигом прекращая пустое суесловье: „Как живу? Как в нашем возрасте“. [4; 171]

Федор Александрович Абрамов:

«Были, вероятно, и у Твардовского увлечения, но мне они неизвестны. В разговорах за столом, свидетелем которых я был, он неизменно подчеркивал: русский писатель не имеет права тратить свое время на забавы, у него слишком большие обязанности перед народом, перед страной.

Я не помню ни одного случая, чтобы он предавался мужским разговорам». [12; 221]

Лев Адольфович Озеров:

«Он никогда не хотел угождать собеседнику». [2; 121]

Александр Васильевич Горбатов (1891–1973), *советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, мемуарист:*

«Слушая меня или говоря сам, он по временам ненадолго задумывался, как будто уходя в себя, обдумывая услышанное. Не столько для того, чтобы выбрать более красивые слова для ответа, сколько для того, чтобы сосредоточиться на существе разговора. В таких минутах было большое внимание к собеседнику, самое серьезное желание его верно понять». [2; 336]

Лев Адольфович Озеров:

«Он мог терпеливо выслушать чужое мнение. Но если был не согласен с ним, собирал складки на лбу, широко раскрывал глаза и ограничивался короткой внятной репликой: „Никак нет...“, „Да нет же...“, „Все не то...“ Или: „Как можно!“, „Как легковесно судят!“, „Не своими словами вы говорите!..“». [2; 123]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«С невероятной восприимчивостью общался с собеседником, который был ему интересен, а таких оказывалось большинство. Но тех, кто разочаровывал его своей заурядностью или отвращал бесцеремонным „повисанием“, будто не видел и забывал, едва они скрывались из глаз. „Как вам NN сегодня показался?“ – спрашиваешь его. „А я его не видел“. – „Да он к вам сегодня заходил“. – „Разве?“» [4; 167]

Читатель

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Помню, как он при мне развязывал – дело было во Внукове – объемистую пачку книг. – Только вот привез, – пояснил он.

Книги были новые, яркие, пахнущие типографской краской, все больше военная мемуаристика, недавно начавшая выходить. Он бережно листал каждую книгу и сложил их аккуратной стопочкой, с удовольствием добавив:

– Почитаем!» [2; 407]

Константин Трифонович Твардовский (1908–2002), *старший брат А. Т. Твардовского, педагог, мемуарист:*

«Отец наш очень любил читать и читал хорошо, да к тому же еще и пел довольно хорошим тенором романсы на слова Пушкина, Лермонтова и песни на слова Некрасова, Кольцова и других поэтов. Знал отец много стихотворений на память. Мы тоже старались без всякого принуждения со стороны родителей заучивать стихи, которых нам в школе не задавали, хотя и школьные задания по литературе готовили добросовестно. Особенно успешно дело пошло у Александра. Он знал целые поэмы Некрасова, такие как „Русские женщины“, „Коробейники“, и многие стихи Пушкина.

Такие вечера с громкой читкой стихов, а также повестей Пушкина „Дубровский“, „Барышня-крестьянка“, „Капитанская дочка“, рассказов Горького бывали часто. Отец умел находить сильные выразительные места и тут же удивлялся сам: как хорошо написано, сколько ума. Вот талант! Такая оценка учила нас чувствовать красоту художественного слова и в целом произведения». [12; 140]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«В помещичьем доме в соседней деревне была недурная библиотека. Помещик выписывал „Ниву“ со всеми приложениями к ней, заключавшими в себе сочинения русских классиков и наиболее знаменитых современных писателей. Это дало молодому Твардовскому начала образованности.

Подростком Твардовский читал много, неразборчиво и упоенно. <...>

В 1921 или 1922 году отец привез из города в подарок детям две толстые книги, обернутые в полотенца. Это были Пушкин и Некрасов, купленные или выменянные им у кого-то. „Отсюда пошла настоящая моя любовь к литературе“, – говорил Александр Трифонович». [4; 120–121]

Иван Трифонович Твардовский:

«Александр очень рано проникся сочувствием к людскому горю, в этом немалую роль сыграла литература. В начале двадцатых годов он достал где-то книгу рассказов С. Подъячева. Один из рассказов, названный автором „Жуть“, был прочитан у нас вслух. Читал Александр, а мы всей семьей слушали. Надо думать, что читал он уже вторично, на этот раз специально для нас. В этом рассказе автор поведал читателю о себе, о своей жизни, жизни действительно жуткой. Все мы, слушавшие, были до глубины поражены беспощадной правдой той „Жути“.

В первой половине двадцатых годов книги советских писателей – „Чапаев“ Д. Фурманова, „Цемент“ Ф. Гладкова, „Железный поток“ А. Серафимовича и „Дело Артамоновых“ М. Горького – печатались отдельными главами в газете „Беднота“. Александр читал их с самозабвением. Прочитывал эти книги и старший брат Константин, а потом, случалось,

братья обсуждали их между собой, делились мнениями. Втягивал Александр и меня в чтение книг и, помню, настоятельно советовал прочесть „Железный поток“, а я так и не мог осилить тогда эту книгу, что огорчало его.

В общем перечислить книги, прочитанные им в четырнадцать – пятнадцать лет, просто невозможно – их прошло через его руки до удивления много. Тут были Я. Гашек, А. Чехов, Д. Бедный, Л. Сейфуллина, А. Неверов, П. Орешин, И. Молчанов и конечно же С. Есенин и много других писателей и поэтов». [2; 21–22]

Орест Георгиевич Верейский:

«Когда он успевал читать все, что прочитал на своем веку, непостижимо. Ведь кроме того обширного материала, который он считал своим долгом читать как редактор журнала, он, казалось, не пропускал ни одной новой, только что вышедшей (стоящей) книги, постоянно возвращаясь к когда-то прочитанному, открывая для себя новые имена среди пропущенных.

Я не хочу писать панегирик вместо простого рассказа о том, чему был свидетель. И не мне говорить о начитанности Твардовского – это общеизвестно. Мы только постоянно поражались его памяти на слово. Она была фантастической. Он мог процитировать целый абзац из прочитанной накануне книги. Иногда он находился под таким сильным впечатлением от нее, что в течение нескольких дней не мог ни о чем другом говорить. И когда он говорил о книге, которую ты на своем веку читал и перечитывал не раз, он всегда открывал в ней целые залежи того, что ускользало от тебя раньше и, высвеченное его видением, становилось открытием». [2; 191]

Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:

«26.XI.1962

Твардовский любит книги Географгиза. Недавно прочел сочинение „Старина-четвероног“ о цолокантах. „Вот, оказывается, есть и такие интересы. Во всей книге Россия ни разу даже не упомянута, как бы нет ее вовсе... А нам кажется – мы соль земли». [5; 91]

Жизненные принципы и установки

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Способность А. Т. к совершенствованию, переменам меня всегда изумляла. При очень твердой нравственной основе личности, сегодня он был не совсем таким, как вчера, и другим обещал быть завтра». [4; 165]

Юрий Григорьевич Буртин (1932–2000), *литературный критик, в 1967–1970-е годы – член редколлегии журнала «Новый мир»:*

«Движение, развитие, самоизменение, самопреодоление – без этих понятий решительно невозможно обойтись, когда думаешь о Твардовском, окидываешь взглядом его творчество. На каждом этапе своего творческого пути он в чем-то очень существенном решительно не похож на себя прежнего. Так, „Тёркин“ в нравственно-философском своем содержании, в своей полной свободе по отношению к официальным ценностям есть как бы отрицание „Страны Муравии“; в свою очередь общая тональность уже „Дома у дороги“, а тем более „Тёркина на том свете“, „По праву памяти“ и многих страниц его поздней лирики едва ли не противоположна тёркинскому оптимизму. Человеку, писателю в особенности, свойственно развиваться. Но кардинальные мировоззренческие перемены он, как правило, переживает в жизни один раз, редко два. Уникальность Твардовского состояла, во-первых, в множественности его самопреодолений, во-вторых, в их ярко выраженном историзме, адекватности глубинным сдвигам в духовной жизни общества. Каждое крупное его произведение становилось в этом смысле знаменем времени, выражением какого-то существенно нового состояния общественных умонастроений». [11, I; 6–7]

Алексей Иванович Кондратович:

«Было в нем и постоянно острое ощущение нового, понимание необратимости перемен и желание перемен, пыливый интерес ко всему, что происходит сейчас в мире, в стране и прежде всего в народе.

Его могла выбить из колеи, сильно расстроить какая-нибудь заметка в газете, другие на нее и внимания не обратили бы. Он обращал, да еще и видел в ней смысл, какой далеко не всякому виден. Ему говорили: „Ну что вы расстраиваетесь, не придавайте такого значения...“, и он в ответ смотрел осуждающе: то есть как не придавать? как же можно не придавать? Ему это было непонятно.

Он был поэт сущего, – не прошлого и не будущего, а настоящего, того, что шло вместе с ним и о чем он мог сказать: „Я жил, я был – за все на свете я отвечаю головой“.

Устойчивость, верность, определенность, как я надеюсь, чувствуются в описании одного вполне рядового дня его жизни. И вместе с тем жажда новых впечатлений, узнавания и познания нового, страстная заинтересованность в этом новом, в его успехе и победе». [3; 36]

Федор Александрович Абрамов:

«Твардовский утверждал советскую новь, колхозную, и тут он был вместе со всеми.

Но Твардовский хотел, чтобы в колхозную новь органически вошло все лучшее, что накопила старая деревня (нравственные устои, близость к природе, отношение к делу и т. д.). И это отличало его от современников-нигилистов». [12; 248]

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008), *прозаик, драматург, мемуарист, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии (1970):*

«В сердце Твардовского, как наверно во всяком русском да и человеческом сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то, вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи, он отдался вере в Сталина, потом искренно оплакивал его смерть. Так же искренно он потом отшатнулся от разоблаченного Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды». [7; 42]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«В нем неколебимо и свято было отношение ко всему, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Потому-то на отдалении лет, после „Я убит подо Ржевом...“, после „В тот день, когда окончилась война...“, написал он „Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...“, заканчивающееся пронзительно искренне: „...о все же, все же, все же...“» [2; 520]

Федор Александрович Абрамов:

«Твардовский – государственник. Это наложило свой отпечаток на все, и уж, конечно, на характер его критики.

Помогает ли государству, народу...

Это иногда сдерживало его, заставляло идти на компромиссы больше, чем это было желательно.

Затем государственность и в том, что он член советского парламента, сам у руля государственного <...>». [12; 248]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Он относился к мировой культуре с глубоким уважением, с трогательным почтением человека, в первом поколении приобщившегося к ней, своими силами обретшего и постигшего ее. В одном случайном и весьма смешанном обществе, где мы с ним ненароком оказались вместе; некая интересничающая московская девица внезапно весьма вызывающе заявила, что недавно, перечитав „Гамлета“, была сильно разочарована и что вообще Шекспир фигура условная и сильно преувеличенная. Твардовский, вообще-то державшийся в этом неожиданном для себя обществе более чем сдержанно и даже скованно, пришел в ярость. Он был в настоящем гневе, он был глубоко оскорблен, и мы, его спутники, торопливо увели его – другого выхода не было». [2; 407]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«<...> Он сказал мне, что главное десятилетие художника и в особенности поэта – от тридцати до сорока. То есть проявляется пишущий стихи, разумеется, раньше, но за этот отрезок нужно постараться сделать многое, важное, основное. Это костяк, ядро жизни и творчества». [2; 236]

Александр Трифонович Твардовский:

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участия добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,
Взялся за гуж – не говори: не дуж.
С тропы своей ни в чем не сступая,
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,

Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

[8, V; 501]

Крестьянский сын

Григорий Яковлевич Бакланов:

«В нем жили привычки и понятия той, прежней его, деревенской жизни. То, что считалось умением тогда, сохраняло в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар – затес, удар – затес. И гордился этим:

– Ну-ка, вот вы так!...» [2; 512]

Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:

«3.XI.1962

Когда собирались к Маршаку и Твардовский торопился, нервничал, пришел Олег Васильевич Волков, с красивой бородой (про него известно, что он из дворян и много лет сидел), высокий, представительный, грациозный господин.

Явился он некстати, не в лучший час, но расположился объясниться с Александром Трифоновичем по рукописи, которую ему вернули.

– Вы пишете про современную деревню, – сказал ему Твардовский, – как 50–70 лет назад можно было писать: тургеневская такая манера, „разнотравье“ и т. п. А нынешнего крестьянина вы не знаете. Вот, смотрите, Ефим Дорош, тот знает, хотя он и в разнотравье понимает, но кроме того, и еще кое в чем знает толк.

„Я не знаю современной дегевни? – грацируя на старобарский манер, возмущался Волков: – Давайте встанем гядом косить, я вам подъезжу пятки“, – кричал он, трясая бородой.

– Ну, этот спор мы должны отложить по крайней мере до июня, – усмехнулся Трифонович, уже натягивая пальто. И вдруг с задором спросил:

– А лошадь запрягать вы умеете?

– Еще бы.

– Ну как? Что сначала сделаете?

Волков стал говорить, сделал какую-то ошибку в последовательности действий (шлея, седелка, подпруга...), и Александр Трифонович его мгновенно сбил.

– Вы не сердитесь, что я говорил так резко, – сказал он, с улыбкой протягивая Волкову руку на прощанье. – Но вы на мою любимую мозоль наступили». [5; 80]

Федор Александрович Абрамов:

«Некоторое время мы молчали. А потом опять с азартом заговорили о крестьянских делах. Твардовский опять начал экзаменовать меня. И верх остался за Твардовским. Иного он не потерпел бы.

– Крестьянский сын, может скажешь, как косу выбирают?

– Как, как? По звону.

– Чепуха. Кустарщина. Косу допрашивают. Был у нас мужик Иван Поликарпов; когда шли покупать новую косу, только его и приглашали. Он с голоса выбирал.

– Как это с голоса?

– А так. Возьмет косу (в одной руке пятка, в другой носок), натянет жало, да как гаркнет: „Отвечай, коса!“ Ну, та ему ж ответит, что надо. Безошибочно выбирал.

– Не знаю. У нас что-то так косу не допрашивали. У нас на отбой определяли.

– Да и у нас с голоса выбирать мог только Иван Поликарпов. Я бывал мальчишкой, видел, как он косу допрашивал. И самое смешное при этом – мой отец. Уж, кажется, кто-кто, а мой-то отец слышал металл. Кузнец. Золотые руки. А косу не слышал. Ивана Поликарпова приглашал». [12; 224–225]

Орест Георгиевич Верейский:

«Он любил всласть попариться в баньке, гордился знанием тонкостей банного дела и особо – своим умением тереть спину». [2; 184]

Федор Александрович Абрамов:

«Заговорили о банном деле. Пожалели, что нет поблизости бани. Твардовский с пониманием заговорил. У меня слюнки потекли. И вдруг я слышу: веники вяжут в августе. – Да вы что? Я стал доказывать, привел целый ряд доводов. Твардовский тяжело задышал, на лбу появились знакомые складки, неприязнь в глазах... Вмешивался Дементьев: Федор, не безобразничай. Не спорь. Соглашайся. Уймись, Федор.

Но я не унимался. Истина – раз, а во-вторых, и вино шумело...

– Что – Федор? Веники-то для чего заготавливают? Чтобы листом париться. А в августе? Прутья одни останутся, все листья опадут. Надо же отличать веники от розог. Таким веником можно пороть, драть человека, но не парить.

Твардовский задышал... Но, видимо, этот довод был достаточно убедителен. На какое-то время смолк.

Твардовский знал толк в работе, в ремеслах. <...> И вдруг – возможно ли это? – нашелся молокосос (так я, конечно, представлялся Твардовскому), который уличает его в незнании дела. У него не хватило силы признать свой промах. Или не захотел, не знаю почему». [12; 224]

Вячеслав Максимович Шугаев:

«Он с любопытством наблюдал за нашим странным, полумонашеским, полурасхристанным бытом. Порой вмешивался:

– Ну кто же так яичницу жарит?! Сухой блин будет, а не яичница. Давайте покажу.

Резал мелко сало, сыпал в сковородку, давал подплавиться кусочкам, прозрачно зажелтеть, потом разбивал яйца. Снимал пышную, с ярко-янтарными глазами, в шипящих, булькающих фонтанчиках.

– Вот как это делается!» [2; 500–501]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Твардовский так и не стал до конца городским человеком: опасался переходить улицу, на шумных магистралях вцеплялся в рукав своего спутника. Его внимание притягивали не механизмы, а организмы. Вряд ли он мог устранить простейшую неисправность в часах, наладить радиоприемник или хотя бы починить электропроводку в квартире. Как-то сказал с печальной самоиронией: „Есть три вещи, которым я мечтал научиться, да, видно, в этой жизни не успею: водить автомобиль, печатать на машинке и выучить иностранный язык“. (Он знал немецкий, но в скромных пределах.)

Зато все, что произрастает, цветет и плодоносит, он считал подвластной ему сферой и стремился знать до тонкости. А. Т. сердился, когда в описаниях природы автор ограничивался общим определением: дерево, птицы, цветы.

– Для меня это улика. Дерево – так скажи какое: ель, береза; осина? Птица – так дятел это, дрозд или синица?

„Разнотравье“, которым отделяются многие деревенские пейзажисты, было одним из самых скомпрометированных для Твардовского слов. Ведь трава – это мятлик, ежа сборная, пырей. Все они были для него непохожи друг на друга и жили каждый под своим именем в его поэзии». [4; 168]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут „пахло сеном“, а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное сухое сено... Все это разные же запахи!» [2; 524]

Орест Георгиевич Верейский:

«Для него природа была родным домом. Он относился к ней уважительно, по-хозяйски. Он знал, где можно, где нельзя ходить по траве, потому что это не просто травка, а покос, знал, когда и как можно ранить дерево, чтобы добыть сок, не причинив ему вреда; знал, когда и как пересаживать деревья, чтобы они прижились, как обрезать их, чтобы стала пышной крона. Он никогда не выбирал непременно хорошей погоды для дальнего похода в лес – шел в дождь, не замечая его. Он шел по лесу как хозяин, угадывая по своим тайным приметам грибные места, ругался, увидев следы варварской порубки. Брошенные в лесу обертки, куски газет, всякий пикниковый мусор возмущал его, и он никогда не шел дальше, пока не вытащит спички, не разожжет костерок и не спалит весь собранный им мусор. И не уйдет, пока не убедится, что костерок догорел. <...>

Он знал народные приметы и верил им. И если он говорил, что первый снег непременно растает, потому что лег на мягкую, не схваченную морозом землю, что весна нынче будет ранняя или лето дождливое, что гроза пройдет стороной, – мы знали, что так и будет.

Мы шутили, что он угадывал перемены в природе раньше, чем они происходили». [2; 190]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«В природе он хотел все знать в лицо – каждую птицу, каждое дерево». [4; 167]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Он любил собирать грибы, и в одну из последних встреч в редакции мы с ним всерьез обсуждали вопрос о том, можно ли искать грибы в очках для дали. Он утверждал, что все-таки можно. А как он умел радоваться найденному грибу! Помню, однажды, завидев издали огромный белый гриб, он бежал к нему с таким восторженным криком и шумом, что трудно было поверить, что он бывает мрачен, озабочен, неприветлив». [2; 409]

Николай Павлович Печерский (1915–1973), журналист, прозаик, детский писатель:

«Мы вышли на дорогу, свернули в лес. То здесь, то там в жухлой лесной подстилке замелькали шляпки грибов. Твардовский стал собирать их в горсть. Я сказал, что грибы нам вроде бы ни к чему. Твардовский возразил:

– Как это – ни к чему? Грибы всегда к чему.

Он продолжал собирать грибы, складывал их в приметном месте, чтобы потом забрать. Скоро у него уже было несколько горок волнушек, подберезовиков, маслят. А у меня так – два-три грибочка, да и те никудышные. Подошел Александр Трифонович. Очень серьезно и строго сказал:

– А грибы брать вы не умеете. Их надо перехитрить. Обязательно. Ходите и бормочите про себя: „Грибов нет, нет грибов“. Вот тут-то они объявятся. Попробуйте...» [2; 315–316]

Александр Трифонович Твардовский. Из письма И. С. Соколову-Микитову:

«Лес шелушится, грибочки уходят, спасибо, что хоть два-три раза дались мне по-настоящему, когда уже не только свинушек, но и сыроежек не берешь, – только классные. А слу-

чалось набредать и на боровики могучие. Идешь, а он вдруг стоит в траве, притаившись, как сом, а уж по корешку чувствуешь, что здоров и свеж, хоть и в возрасте. Я между прочим привык приравнивать грибные возрасты к человеческим, – там и младенцы, и юноши, и зрелые мужи, и на склоне лет, и дряхлые». [2; 427]

Лев Адольфович Озеров:

«Крестьянская почтительность к старшим и образованным осталась у него до последних дней». [2; 130]

Садовод

Владимир Яковлевич Лакшин. *Из дневника:*

«6.VI.1960

Александр Трифонович с любовью говорил о своем саде во Внукове.

– Есть в этом сладость – помогать природе. Какой-нибудь ряд елочек завершу, или этот куст – туда, тот – сюда... А тут по случаю купил необыкновенно удобную тачку...» [5; 40]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*

«6.V.63. М[осква]

С 30-го веду напряженно-отдыхательный образ жизни, т. е. занялся садом (впервые за все годы обработал приствольные круги двух антоновок по “полному профилю“, с изъятием отвратительных крупных и неискоренимых корешков дурной травы, со снятием лишней тяжелой земли (все яблони при посадке заглублены) и внесением компоста.

Пересадил:

1. старую сирень от веранды;
2. клен заморский, выявившийся в кусте жасмина, – страшно трудно дался;
3. маленькую антоновку от лесной стороны;
4. дикую „дулю“, что разрослась внизу верхнего сада без толку (принес как-то из лесу прутик).

Думаю пересадить розовый налив из-под большого дуба на сев[еро]-вост[очном] углу и продолжать обработку лучших яблонь.

Наметил срубить (выкорчевать) по крайней мере три яблони – две „голенастые“ и одну китайку у фин[ского] домика.

Работа очень трудная, заливаюсь потом, болят руки-ноги, но странным образом дает успокоение и удовольствие, думаю об этих „преобразованиях природы“ больше, чем об итогах Совещаний, хотя имею в виду статью на тему об элементарных вещах, в разъяснении которых есть настоятельная необходимость». [11, I; 177–178]

Алексей Иванович Кондратович:

«Уже лет семь прошло, как Твардовский перебрался из Внукова на новую дачу в Красной Пахре. Это километров сорок от Москвы, в стороне от Калужского шоссе. Во Внукове он мучился с водой. Дача была на горе, а вода под горой, приходилось таскать ее десятками ведер для поливки сада, огорода: работка! А без нее чего-то не хватало бы. Лишь только сходит снег, он начинает возиться в саду и это, как он уже не раз говорил, лучшие его часы.

– Занимаюсь садовыми преобразованиями, – весело сказал он весной. – И знаете, чудесно! – Усмехнулся. – Эти дачные работы похожи на работу перышком. Что-то все время улучшаю, дополняю, подсаживаю, наращиваю густоту, а где нужно прореживаю, выявляю то, что уже хорошо, и замечаю, что требует доработки. Но есть и отличие: в саду сразу и несомненно видишь свои достижения, а со стихами еще погоди, еще что о них скажут другие. – И засмеялся, довольный и самим сравнением, и тем, что вспомнил свой утренний урок. <...>

Один раз я его застал за окучиванием яблонек, они у него еще в самой поре роста, должно быть, десятилетки или чуть больше. Он был в сапогах с подсохнувшей глиной на голенищах, в старой рубашке с открытым воротом, лопата казалась маленькой в его больших тяжелых ручищах, и вообще он был велик и внушителен перед тоненьким деревцем. „Ему бы стога метать или мешки с зерном таскать на крутых широких своих плечах“, – подумал я и вспомнил, что как раз в ту же пору завезли к нему и свалили у ворот мешки

с цементом, и я еще спросил: „Кто же их перетащит к даче?“ – „Я перетащу, кто же еще...“ И перенес, а в каждом мешке пуды: цемент, не что-нибудь.

На этот раз он не заметил, как я вошел в калитку. Я остановился, не решаясь прервать его работу, но он сам кончил копать и стал внимательно оглядывать яблоньку, осторожно трогая ее то за одну веточку, то за другую, наклоняясь и что-то рассматривая. И уже по одному этому видно было, что он не просто выполняет урок, а работает с тем интересом и сосредоточенностью, когда час – не время, и за делами все забывается». [3; 13–14]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Сад в последние годы был одна из его главных слабостей и утех. В нем крепко сидел крестьянский навык – жажда простого труда, радость прикосновения к земле. Он не любил искусственных упражнений для тренировки мышц – не могу представить его делающим гимнастику. Но физический труд, и не шуточный, был ему, по-видимому, необходим, иначе он начинал „закисать“». [4; 169]

На отдыхе и в домашней обстановке

Орест Георгиевич Верейский:

«Когда Александр Трифонович задумал поселиться на даче под Москвой, чтобы можно было работать в тишине, выбор его остановился на том поселке, где я уже обитал несколько лет. Александр Трифонович подробно расспрашивал меня об этом месте, об условиях нашего быта, о людях, живущих здесь. Мне очень хотелось, чтобы Твардовские стали нашими соседями, и я не скупился на похвалы, но объективности ради сказал, что вот только далеко от города, сообщение плохое, иногда из-за этого пропускаешь что-нибудь интересное или важное. Твардовский глянул на меня с удивлением. „В наши годы страшно одно – пропустить хорошую мысль“, – сказал он.

Поселившись здесь, он привязался к нашим местам. И зимой, и летом, как бы поздно ни задерживали его дела в городе, он старался хоть к ночи вернуться сюда, чтобы проснуться и начать новый день в тишине, среди берез». [2; 189]

Юрий Валентинович Трифонов:

«В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. <...> По утрам Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе за своей временкой, как раз возле угла нашего общего забора. <...> Иногда мы разговаривали о садовых делах. Он советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину. <...>

Александр Трифонович жил на даче круглый год. Жить там ему, по-видимому, очень нравилось». [2; 481]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Вставал он рано, часов в пять, в шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками – то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком. <...>

Обычно, прежде чем в воду войти, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор – ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит вместе и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился, что зажег я с одной спички. <...> Твардовский не скрывая заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться. <...>

Посидев у костерка, докурив, слезал он в воду, придерживаясь рукою за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражались в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как он под водой засасывает все глубже и от него по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу же плыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок. Потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке». [2; 511–512]

Юрий Валентинович Трифонов:

«Каждое утро ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним – боялся быть навязчивым, – а он по дороге от своей дачи на речку

заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: „К барьеру!“ Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссосветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба круто тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там, в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы, располагались на нашем месте.

Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода во всей реке. Потому что ключи, местами даже стынью обдаст, плывешь-плывешь – и холодом по ногам.

Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватались за склоненный низко над водой будто по заказу, не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали силой. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго, медленно плавал». [2; 485–487]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома его не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки – и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и вместе вошли в дом.

В доме все это стало выгружаться: обсыпанные мукой свежие калачи, из бывшей булочной Филиппова привезенные, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан в печать номер журнала, в типографию ушел. Великий груз снялся с плеч. А что в папках привезено, это уже в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, а скорее в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют в виду лучших удобств, это – твое место на земле. И хотя этот дом под Москвой, не им построенный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось». [2; 519]

Песельник

Петрусь Бровка (Петр Устинович; 1905–1980), *белорусский поэт, прозаик, общественный деятель*:

«Как-то вечером, переговорив обо всем, мы вздумали запеть. Твардовский, не обладая особым даром пения, тем не менее пел проникновенно. Вот мы и заводили все, что нам припоминалось. Больше народное: русские, белорусские да и украинские песни. И „Вниз по Волге...“, и „Ой, расцвіла ружа...“, и „Реве та стогне...“. И как-то незаметно мы остановились на „Коробейниках“». [2; 231]

Иван Никанорович Молчанов (1903–1984), *поэт*:

«Кроме лыжных прогулок и хождений в чайную застряли у меня в памяти деревенские именины.

Как-то под вечер Александр Трифонович говорит мне:

- Иван Никанорыч, вот тебе деньги, сходи в ларек, купи вина бутылок пять-шесть.
- Саша, зачем тебе так много?
- Не мне. На именины сегодня идем.
- На именины? К кому? Да я и не приглашен.
- Это не важно, я приглашаю!
- Ну, коли так...

Вечером, когда уже совсем стемнело, мы рассовали бутылки по карманам, и Твардовский повел меня в ближайшую деревню. Бушевала метель, дороги не было видно. Почти по пояс в снегу, добрались мы до нужной деревушки. В деревне на улице ни души, только пурга гуляет да светятся мутные огоньки окошек. <...>

В „именинной“ избе, куда мы вошли, было полно народу, застолье было в полном разгаре. Гости – главным образом колхозники, среди них несколько женщин. Три или четыре стола были поставлены в ряд, получился один длинный стол с неприхотливой деревенской снедью.

– С име-нин-ницей вас, люди! – провозгласил Твардовский, ставя на стол приношение.

Оказалось, что свой день рождения справляла наш врач-терапевт, милейшая Валентина Петровна. Работая в Доме творчества, жила она в деревне, на частной квартире. Она представила нас собравшимся.

– Выпьем за наших, за великих пролетарских писателей! – поднимая рюмку, провозгласил хозяин стола.

Твардовский, тоже держа в руке рюмку, довольно сердито сказал:

– Дорогой Семен Парфеныч, во-первых, нам до великих как до луны, а во-вторых, никакие мы не пролетарские, а советские! А плохие ли, хорошие, судить не нам...

Оказалось, что Твардовский был уже знаком с этим пожилым колхозником.

– Ну, насчет плохих-то ты уж, Александра Трифоныч, брось! Тот, кто написал „Тёркина“, не может быть плохим!..

– Не знаю, не знаю, дядя Семен! А вот в наших смоленских деревнях на свадьбах, на именинах без песен не бывало. Есть тут песенники?

– Как не быть, есть! – раздались голоса.

– Ну, тогда споем в честь именинницы! – Твардовский чистым, хорошим для слуха, голосом затянул:

Ой, полна, полна коробушка.
Есть и ситцы и парча!..

Знакомая некрасовская песня тут же была подхвачена всем застольем:

Пожалей, эх, душа-заснобушка,
Молодецкого плеча!

Были спеты и „Москва майская“, и „Реве та стогне Днипр широкий...“, и „...При зеленой доле конь гулял на воле“, не обошлось и без камыша, который „шумел“. И в каждой песне голос Твардовского звучал ясно и отчетливо, он не только органически вливался в импровизированный самодеятельный хор, но и вел его. В одну из наступивших между песнями пауз я, подражая голосу старого Семёна, созоровал:

– А сейчас, товарищи, выступит с чтением своих стихов великий пролетарский поэт Александр Твардовский!

Александр показал мне кулак и, обращаясь к гостям, сказал:

– Молчанов прекрасно знает, что читать свои стихи я не люблю... Давайте-ка я спою вам наши смоленские частушки.

– Просим, просим! – раздались голоса.

Частушек Твардовский знал множество. Были частушки лирические, любовные, были и озорные, на некоторые присутствовавшие отвечали простодушным хохотом и аплодисментами.

И в лодке вода,
И под лодкой вода.
Девки юбки снимали...

Я невольно дернулся: неужели он ахнет концовку этой частушки? Я хорошо знал неприличное озорство последней строчки. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Сделав чуть заметную паузу, Твардовский отчеканил:

Перевозчику беда!

Прервав пенье частушки, Твардовский хлопнул меня по плечу.

– Иван, ты знаешь эту песню... Ну-ка начни! „Колокольчики-бубенчики...“

Я хорошо знал эту песню.

Колокольчики-бубенчики звенят,

– начал я, а Александр Трифонович подхватил:

Простодушную рассказывают быль.
Тройка мчится, комья снежные летят,
Обдаёт лицо серебряная пыль».

[2; 259–261]

Наталия Павловна Бианки:

«После двух рюмок Александр Трифонович обычно запевал. Голос приятный, а слух – просто отличный». [1; 29]

Алексей Иванович Кондратович:

«Вот он позванивает тихонько, но так, чтобы все слышали, по бутылке вина и, прищурившись, улыбается: „А ведь оно уже о чем-то задумалось... Не пора ли? Ну-ка, разольем!“ <...>

И очень любил общее, дружное согласие за столом. „Что вы там отделяетесь! – мог крикнуть кому-нибудь разговарившемуся с соседом. – Нельзя отделяться! Давайте-ка в общий разговор!“

И пожалуй, больше всего любил за столом петь. Петь вместе, сообща. Старый русский обычай, высшие и самые сладостные часы любого русского праздника и гулянья. И тогда словно руководил пением, поднимал руку и дирижировал, где потише, поплавнее, потому что „Летят утки, ле-е-тят у-у-тки“, а где призывал и металла в голосе добавить: „Пора, брат, пора, Туда, где за тучей белеет гора!“ Некоторые песни, скажем „Узник“, пел на свой лад, так, как когда-то пели в деревне, пели отец, мать – „Подлетал ко мне ворон, орел молодой“ и приговаривал: „Ну-ка повторим“. И воодушевляясь, все повторяли такой необычный вариант песни. Или вдруг задумывался, только что спев: „С кем гуляла, с кем ходила, одново тебя люблю...“ – „Ах, как это хорошо, – восхищался, – целая жизнь, и какая любовь! Мало ли с кем ходила и гуляла, а ведь люблю-то тебя одного и всегда любила!..“ И снова запевал эту песню, видимо находя в ней ту бездонную глубину смысла и чувства, которую никакими словами не выразишь, а выразить можно только самой песней и пеньем ее...» [3; 374–375]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«...Песня возникала вдруг, без предупреждения, без уговора. На дальнем конце стола, где сидел Твардовский, сквозь беспорядочный говор, смех, звяканье посуды будто сам собою зарождался напев.

Далеко-далеко
Степь за Волгу ушла...

И все смолкало. За торцом стола, на фоне серо-синих книжных переплетов – чуть откинута вверх голова Твардовского, мягкое, округлое лицо, поредевшая прядка волос на лбу и широко открытые голубые глаза. Рука пошла в сторону плавным, приглашающим жестом...

В той степи широко
Буйна воля жила.

Хрипловатый и сильный его голос негромко, но с властной энергией выговаривал слова песни. Никакой разнеженности, сентиментальности! И чем чувствительнее был сюжет, тем по внешности суше, строже *рассказывал* он песню. Именно рассказывал, потому что пел он не как поют певцы, хотя бы и домашнего круга, подражающие оперному бельканто или эстрадному шепотку. Песня была для него обычно балладой – напевным рассказом о каком-то происшествии, драматической судьбе, неразделенном чувстве. Слыша музыку внутренним слухом, он строго держал ритм и тон. А внешне – почти говорил, вкладывая в песенный рассказ будто личное, пережитое. <...>

Твардовский любил, чтобы пели хором, но не дирижировал, а вел песню голосом, подчиняя своему темпераменту и интонации. Бывало, все еще тянут припев, а он уже торопит началом следующего куплета:

Забывал он семью,
И детей, и жену.

А имел на уме
Только волю одну.

Минутами он будто пропадал, уходил куда-то. Светлые и сильные глаза его на бледном полноватом лице смотрели вглубь себя, пока голос вел мелодию. А то – как бы обращался к слушающим, и тогда, даже если песня была всем знакома, казалось, он рассказывает ее в первый раз, как если бы никто из нас ее прежде не слышал. <...>

А пел он песни не сказать чтоб веселые. Вообще-то он и шуточные песни любил, но на моей памяти пел их уже редко, и последние годы все реже. Разве иногда – „Метелки вязали“, эту комическую круговерть хилой коммерции рязанского мужика, который вяжет в деревне метелки, отправляет их в Москву, продает, пропивает вырученные деньги и снова возвращается в родную деревню вязать метелки... Плясовая, напоминающая по отчаянной самоиронии „Камаринского“.

Но счастливое чувство преодоления душевной тяжести, когда вдруг все отступало, несли у Твардовского и песни протяжные, печальные. Да таких и больше было у него в запасе. <...>

Припоминая сейчас одну за другой эти песни, я вижу, что две по преимуществу темы, неизменно глубоко трогавшие Твардовского, определили его выбор: любовь, редко счастливая, чаще неразделенная, несчастная, когда жизнь, обязательства перед семьей или просто отсутствие ответного чувства разъединяют людей. И другая тема – свободы, степи, побега, давняя народная тема *воли*». [4; 172–176]

Привычки и склонности

Алексей Иванович Кондратович:

«Я не знаю, что он делал утром, но не ошибусь, если скажу, что встал он рано. У него это давняя привычка, выработанная, воспитанная в себе.

– Заходил на дачу утром к Дементьеву, а он спит... – сказал он как-то.

– Может быть, рано зашли? – спросил я.

– Как рано? Часов в восемь? Добрые люди к этому времени успевают наработаться, – он недоумевает, как в восемь утра еще кто-то может спать. <...>

– Я должен вставать рано, – сказал он однажды.

– Что значит должен? – удивился я. – Вас же никто не обязывает.

– Конечно, не обязывает, но дело в том, что когда я встаю вместе со всеми нормальными людьми, которые заступают на работу в утреннюю смену, едут на нее с первыми трамваями и на ранних поездах, то у меня особое настроение – бодрое, рабочее. Если и ночь не спал – все равно рано вставай: тогда день как день, чувство спокойствия, а иначе все не так.

– Ну, а если всю ночь мучила бессонница и заснул только под утро?

– Бессонница? – по лицу его пробежала улыбка: наверно, скажет сейчас что-нибудь неожиданное. – Как-то я взял почитать брошюру от бессонницы, а там мне автор подносит цитату из „Тёркина“ о том, как хорошо спалось на фронте: „Спит, хоть голоден, хоть сыт“... Если хорошо устанешь, так будешь спать, а устать от бездеятельности невозможно, значит, опять то же: надо рано вставать. – И заметил совсем уже серьезно: – Когда работается – спокойно на душе, никакой бессонницы не бывает. – И вздохнул, замолчал». [3; 12]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Уже после его смерти я увидел однажды в укромном месте, на полке шкафа в его кабинете, стопу новых толстых тетрадей в красных, зеленых, черных обложках. Как всякий литератор, он был равнодушен к писчей бумаге и из разных городов и стран привозил себе и своим друзьям какие-то особенно удобные, прочные и вместительные тетради. Эта стопка была его неприкосновенный запас: чистые, неисписанные, они ждали, когда станут нужны своему хозяину». [4; 113]

Алексей Иванович Кондратович:

«Вообще он не выносит захламленности. Когда прогуливается по перелескам, окрест пахринского поселка, то готов иногда взорваться: ну что такое, опять воскресные гуляки оставили консервные банки, рваные замасленные газеты, а тут целый разбойный пожар, – всякое желание пропадает ходить. Но ходит. И часто. Какой ни есть лес, а все-таки лес, и прогулки по нему неспешные, с палкой, самим же срезанной и слегка, только для руки очищенной с одного конца – тоже одно из самых простых и самых милых сердцу удовольствий.

– Люблю ходить пешком, – много раз слышал я от него, – просто так, без цели, по пустынной дороге или тропинке, по весеннему лесу, да и по осеннему неплохо». [3; 14]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«2.VI.1965

В этом м[есяце] мне исполняется 55 лет. Из них чистых сорок я курю, не пропустив ни одного дня, а для точности сказать, пропустив лишь один или два дня, когда лет 15 назад проф[ессор] Фогельсон нашел у меня прединфарктное состояние и велел немедленно бросить курить (с той поры я перешел на сигареты). Все, что я не только написал, но и прочитал за этот срок (40 лет), – все с дымом, не говоря уж о том, сколько я выкурил вся-

кой табачины за время „дружеских бесед“, похмельного одиночества, всяческих ожиданий „решения судьбы“, а она столько раз „решалась“ у меня. – Если бы был поставлен вопрос о выборе – с чем я одним остался бы доживать век – с вином или куревом, то никаких колебаний не могло бы быть, – вино баловство до поры и только на некоем этапе – отчаянная необходимость, осознаваемая всегда как временная, а курево – мне никогда искренне не хотелось бросить курить. И какими пустыми и казенными кажутся мне эти советы – бросить курить, – я не так наивен, чтобы надеяться в моем возрасте на перерождение всей психофизической своей натуры и думать, что брошу курить и забуду весь этот 40-летний „опыт“ самоотравления, буду жить и писать без горя. Известно, что люди, воздерживающиеся 10 и 15 лет от курения, способны вновь закурить без всякого „втягивания“, а так, как будто и перерыва не было». [11, I; 329]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«А курил он всегда одни и те же сигареты „Ароматные“, запахом которых и сам был пропитан». [2; 521]

Орест Георгиевич Верейский:

«Он всегда пользовался спичками и, хоть и был заядлым курильщиком, никогда не хотел прибегать к помощи зажигалки. Даже тогда, когда болезнь ограничила подвижность рук, он ухитрялся одной левой зажигать спичку о прижатый к груди коробок. Друзья подарили ему тогда удобную настольную зажигалку, но он продолжал упрямо чиркать спичками». [2; 190]

Едок

Иван Никанорович Молчанов:

«Зимой, в конце 1952 года, я получил путевку в Малеевку, что недалеко от городка Старая Руза. Туда же недельки на две приехал и Твардовский. Мы с ним как-то быстро подружились. Однажды за час до обеда Твардовский говорит мне:

- Иван, составь компанию в походе в Старую Рузу.
- Когда?
- А сейчас.
- Позволь, скоро же обед!
- Вот до обеда и обернемся. Там надо посетить одно хорошее местечко.
- Ну что ж, поехали!
- Не поехали, а пошли. На лыжах ходить умеешь?
- Еще бы! Ведь я северянин.

От Дома творчества до Старой Рузы километра примерно два. В Рузе, у самой дороги, находилось старенькое одноэтажное здание с запавшим углом, с вывеской „Чайная“. Вот в эту чайную и привел меня Твардовский. В чайной было тепло и уютно. На стойке высился большой медный самовар, дышащий на „все пары“, на стенке висело меню, в котором значилось: „На сегодня – котлеты пожарские с жареным картошком, по-деревенски; яичница-глазунья, щука свежая; водка – 100 грамм... р.... коп. Портвейн – 100 гр....“ Твардовский попросил буфетчицу налить нам по сто граммов водки.

- Чем будем закусывать? Щукой? Котлетами? Яичницей?
- Саша, но ведь скоро у нас обед, аппетит только собьем!
- Ничего, после лыжной прогулки и рюмки водки еще два обеда можно съесть!

И он заказал по одной яичнице и по порции щуки. И то, и другое, оказалось, приготовлено довольно вкусно.

– Вот видишь, – сказал Твардовский, надевая лыжи, – неплохое местечко? А? Можно сюда наведываться: и спорт, и удовольствие!» [2; 255–256]

Федор Александрович Абрамов:

«Завтрак прошел хорошо. Пять или шесть перемен – все рыба». [12; 225]

Франц Николаевич Таурин:

«Когда я спохватился, что пора бы покормить Александра Трифоновича, обеденный час давно уже прошел и все столовые и буфеты стройки были закрыты. И я повез Александра Трифоновича к себе. Повез, сознаюсь, не без некоторой робости, так как не готов был к приему гостя. <...> К счастью, кое-что отыскалось, да и огород подсобил – несколько огурчиков и помидоров, хотя и недоспелых, оказались очень кстати.

– Что вы суетитесь? – сказал мне Александр Трифонович, когда я пробежал мимо него с огурцами и помидорами в подоле рубахи. – стакан крепкого чая, и больше ничего не надо. <...>

Наконец чайник закипел, я заварил чай по-сибирски и пригласил Александра Трифоновича к столу. По закону гостеприимства предложил чарку водки.

Александр Трифонович насупился было, потом улыбнулся и сказал:

– Ну что ж. Я первый раз у вас в доме. Нельзя обижать хозяина.

От второй чарки он решительно отказался. Зато чаю выпито было несчетно, пришлось второй раз ставить чайник на плитку». [2; 307–308]

Григорий Яковлевич Бакланов:

«Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдечки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем из блюдца». [2; 513]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Жена Твардовского Мария Илларионовна разливала крепчайший чай, а Александр Трифонович угощал нас сушками. На столе стоял шоколадный торт, конфеты, но сам хозяин явно предпочитал сушки, большую горсть которых он зачерпывал прямо из расписной глиняной миски в свою широкую ладонь и, разговаривая, ломал и похрустывал ими». [4; 110]

Алексей Иванович Кондратович:

«...» Открывается дверь и появляется буфетчица с подносом, на котором чайник, сахарница, чашки. Твардовский оживает.

– Будем пить чай с бубликами, – встает он из-за стола.

Бублики – это особый предмет разговора. Не помню уже, когда Твардовский обнаружил в конце улицы Чехова, возле Садово-Каретной, палаточку, где продавались превосходные, теплые, свежие бублики. Откуда они там появлялись, непонятно: больше таких бубликов нигде не было. И Твардовский по пути в редакцию стал заезжать туда, прихватывая связку бубликов. Ну, а где бублики, там и чай». [2; 351]

Петро Онуфриевич Дорошко (1910–2001), советский украинский поэт:

«Собирались уже возвращаться – как раз напротив оказалась небольшая шашлычная. Неожиданно Твардовский остановил нас:

– Зайдем. Что-нибудь съедим.

– Недавно же обедали, – пожал плечами Семушкин.

– Это ничего. Шашлыка-то не ели.

Шашлык нам подали свиной, жирный. Есть действительно не хотелось. Но, выпив по рюмке, все-таки покончили с тем шашлыком.

– Повторим? – Твардовский закурил сигарету, удовлетворенно прислонился плечами к спинке стула, смотрел на нас, как бы ожидая согласия.

„Серьезно он или шутит?“ – переглянулись мы с Семушкиным. Посетителей в этом не очень привлекательном заведении, кроме нас, никого не было. Опершись локтями на стойку и обняв румяные свои щеки ладонями, безразлично, или, как сказал когда-то Михаил Зощенко, „индифферентно“, поглядывала на нас буфетчица. „Повторить“ мы, конечно, отказались.

– Эх, вы, едоки! А я повторю. – Твардовский обратился к буфетчице: – Принесите мне одному то же самое. Да еще парочку крутых яиц.

Не впервые слышал я эти его веселые насмешки над едоками. Иногда его дочка Ольга за столом обращалась к нему „за помощью“.

– Ну, папа... – подсовывает тарелку, – возьми.

– Тоже мне едок! – Улыбается, берет тарелку.

Ест он не торопясь, не жадно. Приятно смотреть, как большими руками берет хлеб, нож, вилку. Ест, сказать бы, красиво. Крепкий, богатырского сложения – почему бы ему так и не есть!» [2; 391–392]

Константин Михайлович Симонов:

«В день рождения Твардовского, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, он и Мария Илларионовна вместе с Багратором Шинкубой, Иваном Тарбой и другими нашими общими друзьями поехали за десять километров от Гульрипши в загородный ресторан. Мы ужинали под открытым небом, пили легкое местное вино „Изабелла“, вкусно и неторопливо ели, наслаждаясь прохладой после дневной жары. <...>

Наши грузинские друзья Нодар Думбадзе и Гульда Каладзе специально приехали к этому вечеру из Кутаиси и привезли с собой в подарок Твардовскому на день рождения чудо кулинарного искусства – целиком приготовленного козленка, внутри которого оказался жареный поросенок, внутри поросенка – жареный цыпленок, а внутри цыпленка, шутки ради, было положено вареное яичко. Сначала дружно смеялись над этим сюрпризом, а потом так же дружно взялись за работу над этим произведением кутаисской кулинарии». [2; 383–384]

Недуг

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«14.II.1955

Жить для меня значит – сочинять, „копать“, продвигаться так ли, сяк ли дальше, оставляя какой-то кое-как хотя бы взрытый след. Но как только все это перебазируется в голову, в ночные горькие думы, в дневные пустопорожние разговоры под стопку или так, тут наступает беда бедующая.

Относит и относит тебя куда-то в мерзость бездеятельного мысле-и-словоблудия, в „бродажество“, за которым только конец – и конец постыдный, мучительный, разрушающий тебя еще заранее своей неизбежностью, своим ужасом». [9, VII; 155]

Юрий Валентинович Трифонов:

«Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастьи: многодневном питии. <...> Дачники Красной Пахры тщеславились перед знакомыми: „Заходил ко мне на днях Твардовский... Вчера был Александр Трифонович, часа три сидел...“ Господи, да *зачем* заходит? И с *тобой* ли, дураком, сидел три часа или же с *тем*, что на столе стояло? Один дачник, непьющий, признался мне, что всегда вписывает в продуктовый заказ бутылку „столичной“. „Для Трифони́ча“.

– А ты не заказываешь? Напрасно, напрасно. Всегда должна быть бутылочка в холодильнике...

У меня такого распорядка не было и быть не могло, ибо никак я не мог для себя решить: что правильно? Раздувать пожар или пытаться гасить? Правильней, конечно, было второе, да только средств для этого *правильного* ни у меня, ни у кого бы то ни было не доставало. Пожар сей гасился сам собой, течением дней. Мария Илларионовна однажды сказала: „Он все равно найдет. Уж лучше пусть у вас, и мне спокойней“. И верно, находил – хоть на фабрике, хоть в деревне. Были знакомцы по этой части, специалисты по „нахождению“ в любой час, на рассвете, в полночь...» [13; 22]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Видывала я его и в подпитии, и тут он бывал очень разным. То очаровательным, оживленным, искрящимся, прелестно разыгрывающим роль гуляки и бретера.

– Первый поэт республики у ваших ног! – шумел он, изображая ухаживание за женщиной.

А то он бывал мрачным, угрюмым, тяжелым, угнетенным...» [2; 406]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«12.XII.1961. М[оск]ва. 5 ч. утра

Месяц этот подковеркан неудачной попыткой притихнуть в Малеевке. После напряжения съездовских дней и всего последующего выезд в эту обитель моей трудной юности и приют в иные годы („Дали“) оказался неудачным: приехал уже туда хорошеньким, встретил Смелякова, – этого лишь и не хватало, а там началось и не веселье вовсе, а мука и унижительные экскурсии в поисках чего-нибудь, вплоть до некоего „волжского“. Словом, приехала М[ария] И[лларионовна], и на другой день мы вместе уехали в Москву, – я уже больным, в сущности, и день за днем в Москве откладывалось возвращение, а следом нарастал стыд, страх, мука». [11, I; 67]

Владимир Яковлевич Лакшин. *Из дневника:*
«20.XI.1956

А. Т. щепетилен, спрашивал: „А вам в университет не идти? У меня правило: если выпиваешь-закусываешь – уже на людях не показывайся“». [5; 22]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*
«4.III.1962. Барвиха

Снова здесь, в обители моих душевных покаяний, порывистых усилий труда и приобщения к современной „элите“, которой бы я без того не знал никогда так. <...>

В который же я уже здесь раз? М. б., уже в 10-й. <...>

И вряд ли был здесь я хоть раз без предшествующего „потрясения“, дней полного уныния и затем быстрого подъема душевных и физических сил. На этот раз, хоть я и приехал уже без „остаточных явлений“, вполне уже физически высвободившись от „потрясения“, но оно еще тяготеет над моей памятью кошмаром стыдобы, омерзения, бессильного и отчасти уже легкомысленного раскаяния. Записывать это не следует, достаточно того, что это наверняка записано бедным К. А. Фединым, который так наверняка рассчитывал на мое выступление на его 70-летию и желал его, а также, м. б., милой старушкой, моей соседкой снизу (2-й этаж) в корпусе „ВК“ – Фаиной Георгиевной Раневской, которая помогала Маше доставить мои 90 кило с гаком этажом выше (Сац воткнул меня в лифт и бежал, естественно, в силу сложившихся отношений с М. И., да и сам был, наверное, хорош, а я, видимо, нажал лишь вторую кнопку и, выйдя на площадку, расположился там на отдых). Все это, конечно, мне известно только со слов М. И., не помню ничего – и в этом ужас». [11, I; 71–72]

Александр Исаевич Солженицын:

«<...> Из самого беспросветного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться хоть с телом больным, но с отдохнувшей душой». [7, 109]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*

«Все не соберусь записать, как я с годами стал любить, вернее – ценить сон, отдых, постель, когда спится. Что-то есть у Т. Манна об этом очень умственное и изящно-основательное – вроде того, что человек в постели как бы обретает тепло и покой, какими он пользовался в утробе матери, и даже любит принимать позы, скрючиваться, как зародыш. Но еще больше я люблю утреннюю свежесть, ясность головы, охоту жить. И боюсь, просто содрогаюсь от одного представления о тех моих пробуждениях, когда ни лежать, ни встать не мило, и все же встаешь, спеша и одеваясь наскоро, чтобы не лежать, а с отчаяния дернуть куда-нибудь из дому, где единственная душа живая, не прощающая тебя и сама страдающая, спит честным сном усталого, заслужившего отдых человека, – дернуть в дальнейшее наращивание беды и отчаяния пополам с короткими „отпусками“ облегчения и болезненного оживления». [11, I; 338]

Дело

Творчество

Александр Трифонович Твардовский. Из *«Автобиографии»*:

«Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда – ничего от стиха, но я отлично помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого – и лада, и ряда, и музыки, – желание родить их на свет, и немедленно, – чувство, сопутствующее и донныне всякому новому замыслу». [8, I; 7]

Александр Трифонович Твардовский. В записи Г. Я. Бакланова:

«Чтобы писать, нужен запас покоя в душе». [2; 518]

Евгений Аронович Долматовский:

«Александр Трифонович считал сам процесс сочинения, а особенно записывание стихов делом тайным, интимным». [2; 143]

Владимир Яковлевич Лакшин. Из *дневника*:

«Март 1962

По дороге из Италии в вагоне Александр Трифонович ехал с Л. Мартыновым и др. Видит вдруг – Мартынов губами шевелит. Что такое? А стихи сочиняет. „А я уверен, что стихи делаются не губами“. [5; 55–56]

Лев Адольфович Озеров:

«Он говорил мне <...>:

– Я люблю рифмы типа „реки – орехи“. Не „реки – веки“, а так, чтобы аукался звук не тождественный и равный по происхождению: „к – х“. Не „реки – веки“, не „орехи – огрехи“.

Не ручаюсь за порядок слов в размышлениях Твардовского, но порядок довода был такой, как я привожу. И пример „реки – орехи“ – подлинный, подкрепленный его же стихами.

Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи,
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел...

Меня тогда подкупило и озадачило точное знание того, чего он добивался от стиха, какого именно значения и звучания. Не любил игры в словеса, называл это „игрой в бирюльки“. Но каждая малость стиха живо его интересовала, и оттого система его образов, поэзия в целом отличалась единством и осознанностью. Мастер, говорил он, знает, чего добивается, во имя чего добивается, в отличие от любителя, бредущего вслепую.

Иногда Твардовский показывал мне новые стихи, и я с любопытством заглядывал в его блокноты, где было все перемарано, но где выписано было – в который раз – окончательное решение. Он не торопился с выходом в печать». [2; 129]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Твардовский не знал покоя в стремлении к совершенствованию им созданного, и пока книга не уходила от него на слишком заметную дистанцию, продолжал поправлять, переделывать написанное. Исчеркивал поправками уже десятки раз изданную поэму „За далью – даль“, не однажды возвращался к „Тёркину на том свете“. Иногда даже портил невольно какую-то строчку, и удивлялся, и сердился, когда ему указывали, что прежде такая-то строфа звучала лучше.

Однажды шел разговор о его смоленском приятеле Е. Марьенкове, рукопись которого, написанная перед войной, погибла, и он нашел в себе силы написать ее заново второй раз. По впечатлению Твардовского, некоторые страницы в ней оказались даже лучше, ярче.

– Так бывает, – сказал А. Т. – Я иногда говорю поэтам, которые приходят забрать присланные ими стихи: „А я их потерял. Запишите заново по памяти. Все хорошее, сильное наверняка запомнилось и останется, а шелуха отпадет“.

Способ жестокий, но верный; я свидетель, что А. Т. применял его и к себе. Весной 1969 года, оказавшись в больнице без главных своих тетрадок, он сочинял последнюю свою поэму, восстанавливая по памяти движение мысли и стиха, и радовался, что какие-то строфы забыл: „значит, не нужны“. [4; 157–158]

Евгений Захарович Воробьев:

«Однажды Твардовский зашел за мной в землянку, чтобы вместе идти в поезд-типографию <...>. Я попросил Твардовского подождать несколько минут. По моему разумению, этих минут должно было хватить, чтобы дописать главу рассказа.

– Это же хорошо, что ты прерываешь работу, не поставив точки! – оживился Твардовский. – Хочу дать совет. Но только при одном условии: не подумай, что совет продиктован нежеланием тебя подождать. Мой совет – прерывай работу на полуслове! Пусть строфа или глава останется недописанной! Тем охотнее берешься потом за продолжение работы, тем сильнее тянет к бумаге. Усядусь, допишу строфу, и легче пишется новая. Всегда труднее начинать, чем дописывать уже найденное. Важно вовремя набрать скорость, тогда легче подниматься в гору <...>.

Как-то Твардовский поделился со мной стопкой бумаги трофейного происхождения – огромное богатство! – и показал свой заветный клад. На дне деревянного ларца хранилась бумага разных сортов, нарезанная по-разному. Листочки пошире, совсем узкие... Он доверительно, что было совершенно не в его характере, пояснил, что, меняя размер стиха, он ощущает потребность сменить формат бумаги. Ему легче перейти на другой размер стиха, если перед ним бумага другого формата». [2; 158–159]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«Бывает – оставишь начатое на какой-то строчке, высидев приличный срок, и обращаешься к другим делам и забавам и прочему, и не вспомнишь, не обернешься и не приблизишься мыслью к тому, что оставил в наброске. Тогда дело дрянь. А то – бросишь что-то, едва проклюнувшееся, и куда бы ты ни девался, никуда от этой завязи не уйдешь, она с тобой – на прогулке, за обедом, в разных делах, в нужнике – везде. Тогда – хорошо». [9, VII; 191]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Как-то в дружеском застольном разговоре А. Т. заметил об одном писателе, что у него есть замечательные сцены, но он очень неровен, пишет много, как графоман. „В этом смысле всякий писатель графоман“, – возразил один из присутствующих. „Я не графоман, – сказал неожиданно Твардовский. – Если бы вы знали, как трудно, мучительно я пишу и как мне не нравится все, что я пишу“». [4; 157]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*

«Я знаю, что то, что у меня долго валяно, что долго не выходит, не продолжается или не скругляется, – в конце концов получается, вдруг вырвавшись на какую-то свободу, которая долго-долго не давалась, загроможденная чем-то, запертая». [11, I; 128]

Петрусь Бровка:

«Бесконечно требовательный к себе, был он таким же и по отношению к другим. Сам не спешил печататься, но уж то, что выходило в свет, по своей завершенности было безупречно. Работал он всегда. Помню, что во время отдыха и лечения в Барвихе, встречаясь со мной на прогулке, он всегда говорил о том, чем тогда жил. По его хотя и отрывочным рассказам можно было судить, как движется работа.

– Ну, кажется, додумал до конца, – говорил он об одной из своих глав. – Расставил колышки... А теперь только пахать, – говорил он, встречаясь через некоторое время. – И борозды кладутся как будто неплохо... – замечал он еще через несколько дней о своей работе». [2; 233]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*

«Не миновать того, что после известного подъема в работе приходится испытать и муку отчаяния и отвращения к тому, что делаешь, и потом нужно изжить это горькое чувство и идти дальше. Но это разочарование, опустошающее отчаяние – позволяют видеть с особой очевидностью все недостатки, фальшь, натяжки и т. п. Но наперед спланировать эту „депрессию“ опять же не приходится, – ее получаешь помимо твоей воли, и она является в натуре не как предвестие нового подъема, а как таковая – и только». [9, VII; 192]

В. Галкин:

«<...> Я <...> взглянул на стол Александра Трифоновича. Он был усеян страницами, заполненными его мелким, почти бисерным, но разборчивым почерком. Над зачеркнутыми строчками высились новые, они тянулись и по полям страниц». [2; 196]

Александр Трифонович Твардовский. *Из дневника:*

«Когда завязывается нечто надежное, – примерный план обрастает множеством забегающих вперед строк, ходов, оборотов, слов и т. п. Правда, они не вдруг и не все встанут в нужный ряд, но должны жужжать над головой роем, умножаться, меняться, сливаться и развиваться». [9, VIII; 129]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«Несмотря на то, что у него самого есть совершенно замечательные короткие стихотворения, он душой не принимает миниатюру, недолюбливает, она его не удовлетворяет до конца». [2; 244]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«А. Т. иронизировал над таким способом существования лирического поэта-профессионала: встал, хорошо выспавшись, попил кофе, положил на стол писчую бумагу и перо,

сел и думает, вперив взор в окно – что бы мне сегодня написать? Лирические стихи возникали у А. Т. непреднамеренно – дорогой, на прогулке, среди ночной бессонницы – и переписывались им в дневник между других записей дня, словно бы как часть его». [4; 155]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«На мой вопрос, написал ли он что-нибудь в Коктебеле, с усмешкой:

– Жарко было. А мне, чтобы стихи писать, нужно штаны и рубашку надеть. Иначе я не могу». [2; 239]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Мне очень понравилась его большая „Книга лирики“, вышедшая в конце сороковых – в начале пятидесятых годов. При встрече я поздравила его с ней и рассказала о своем впечатлении, но, чуть поколебавшись, все-таки добавила:

– Знаете, только чего мне в книге не хватает? Любовной лирики. Истинных страстей... Безумств...

Твардовский, словно оправдываясь, виновато развел руками». [2; 391]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«Поэту такой силы, широты и разнообразия, ему, как ни странно, свойственно некоторое предубеждение против стихов о любви. Вероятно, это едва ли не уникальный случай – отсутствие интимной лирики у поэта такого масштаба». [2; 243]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«9.VIII.1961

После длительного неписания мне, обычно, прежде всего требуется разыграться в стихах, хотя бы более первостепенными были замыслы прозы. А уверившись, что я еще и стихи могу, могу что угодно и без всякой заботы о стихах. Я думаю по преимуществу прозой – это как бы мой родной язык, тогда как стихи – приобретенный, хотя бы и усвоенный до порядочного совершенства. Только изредка думаю и стихами, когда вдруг набегают строчка, „ход“, оборот, лад. Из этих „набеганий“ произошли в большинстве „стихи из Записной книжки“, т. е. пришедшие вдруг строфы или строчки, не получившие развития в целые „пиесы“, которые („пиесы“) обычно мною обдумывались в прозе. Только с годами понял, что такие „набегания“ – наибольшая драгоценность, это как самородки, которые вдруг выблискивают из-под лопаты, перерывшей прорву породы ради среднего, а то и совсем малого сбора золотого песка. – Большинство, пожалуй, моих стихотворений, особенно „сюжетного ряда“, отяжелены их чисто прозаической основой. Но без этой прозаичности не могло бы случиться и моих больших вещей, которые при этом сильны в частностях „ходов и оборотов“ и т. д. строчками из тех, что „набегают“. [11, I; 42–43]

Александр Трифонович Твардовский. В записи А. И. Кондратовича:

«Я ведь не стихолюб. Я стихи не люблю. Можно сказать, что я стихоненавистник. И это пришло ко мне не сейчас. Я и в молодости стихи не любил. Одно время даже думал бросить это никчемное занятие...» [3; 354]

Федор Александрович Абрамов:

«Твардовский все собирался засесть за прозу. В минуты откровенности он даже признавался (или так выходило из его разговоров), что к прозе он еще не подготовлен (хотя уже был прозаик) и что занятия прозой будут конечным звеном его писательской биографии. <...>

Твардовский был прозаиком и поэтом с самого начала одновременно». [12; 268]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«В последние годы, почти ежедневно видясь с Александром Трифоновичем – в редакции или дома, я знал, что им давно задумана большая прозаическая вещь, что-то вроде автобиографической повести о своем детстве и юности, о близких, об отце. Но известно мне было только название „Пан Твардовский“, и больше ничего не мог бы сказать я, пожалуй, об этой его работе. <...>

В „рабочих тетрадях“ Твардовского нашлось немало указаний на этот неосуществленный замысел: планов, подготовительных записей, уговоров самому себе приступить, наконец, к давно задуманной работе. <...>

Перелистываю его тетради и вижу: Твардовский то и дело возвращается к мысли о большой прозе, ходит вокруг нее, как вокруг заколдованного места, передумывает старые планы, сочиняет новые, воскрешает в памяти полузабытые подробности детских лет, пытается восстановить на бумаге топографическую схему отцовского „имения“ – пустоши Столпово. Но снова и снова откладывает „на потом“ этот дорогой ему сюжет». [4; 111–113]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«30.XII.1953

И если мне нужен был в дело какой-нибудь пастушечий прутик, клочок пахучего сена, какой-нибудь изгиб лесной тропинки, какая-нибудь штукавина из обихода, птица или рыба, изделие материнских или отцовских рук, занятный случай, песня, шутка, при словье или одно доброе словечко – я все это, не задумываясь, брал оттуда, из моей главной книги, которую я знал с любой страницы. И это тем более было удобно, что заметить этого заимствования никто не мог, так как книга оставалась ненаписанной и была известна только мне. И меня нередко хвалили: смотрите, какой у него язык, какие описания, какие детали быта и т. д. И невдомек было, откуда все это у меня. Другое дело, если бы книга была написана и напечатана. <...>

А в более поздние годы я вдруг подумал: что, если я мою главную книгу так-таки и растаскал на кусочки? А примусь за нее, и окажется, что и одно, и другое, и пятое, и десятое уже рассказано мною. И уже окажется так, что я из своих выпущенных ранее вещей „сдираю“, окажется, что книга списана с самого себя.

Но, нет, там еще много есть кой-чего, чего я ни на синь-волос не тронул, не вспомнил. Нужно только поостеречься, не повторяться ни в чем...

А потом подумалось другое, еще более смутившее меня: что, если, написав и выдав в свет мою книгу, я останусь без нее, без такой, какой она была для меня до сих пор, моя заветная... И не будет уже у меня такой радости перелистать ее про себя, порадоваться ее картинам и т. д.

(И когда меня бранили, я говорил себе: ничего, погодите, почитаете еще.)». [9, VII; 126–127]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«22.VI.1957

Всего никогда не запишешь, что набегает, застревает или уходит из памяти, и всегда, кроме записанного, есть и должно быть еще больше недописанного». [9, VIII; 130]

На литературном посту

Вениамин Александрович Каверин:

«Для него – это сразу чувствовалось – литература была священным делом жизни, вот почему тех, для кого она была всего лишь способом существования, точно ветром от него относило». [2; 328]

Лев Адольфович Озеров:

«Его место в литературе определялось им самим, без аналогий. Он не хотел проходить по графе „крестьянский писатель“, или „рабочий писатель“, или „молодой писатель“. Русская литература представлялась ему поприщем ответственным и многотрудным». [2; 117]

Федор Александрович Абрамов:

«...Твардовский еще при жизни был легендарной личностью. Где бы вы ни были, в каком бы кругу ни заходил разговор о литературе, везде: а что сказал Твардовский?

Мнение Твардовского для писателей имело силу закона. Он был на особом положении, имя его было окружено особым почетом». [12; 261]

Константин Михайлович Симонов:

«Я не считаю, что он всегда бывал прав в своих оценках, но его мнение всегда было определено. Искреннее и твердое убеждение в своей правоте и чувство ответственности стояли за каждым написанным им в письме или отзыве словом. О такую определенность иногда можно было и ушибиться, но ее нельзя было не уважать. Эта черта, свойственная Твардовскому как деятелю литературы, дорого стоила: она свидетельствовала о силе и цельности его личности». [2; 368]

Алексей Иванович Кондратович:

«Твардовский был человеком с твердыми и вместе с тем живыми принципами. Принципами, а не параграфами из неписаного, но увы, существующего у иных литературных догматиков свода узаконений. Все как раз наоборот: тончайшее понимание искусства и его безграничных возможностей определяло бестрепетное отношение к любым литературным авторитетам, сложившимся теориям, мнениям, суждениям. Представлять Твардовского человеком недопонимающим или даже до чего-то не доросшим по меньшей мере смешно. Дай бог каждому иметь такую широту взгляда на литературные явления, какая была у него. Широту и глубину. Удивительную проницательность. Нестандартность подхода к фактам литературы. И всегда высочайшую, не знавшую ни к кому снисхождения взыскательность, тот самый строгий вкус, который иные и принимали за его односторонность, ограниченность, а то и нетерпимость.

„Пройти“ через Твардовского, получить от него одобрение было ох как трудно, но совсем не потому, что он был „узок“, а потому, что критерии его всегда были незыблемо высоки». [3; 216–217]

Петрусь Бровка:

«Был он скуповат на похвалу, но если отмечал что-либо, знали, что это заслуженно, и все мы были ему весьма признательны». [2; 233]

Алексей Иванович Кондратович:

«Его может сделать счастливым одна фраза, одно неожиданное выражение». [2; 358]

Сергей Павлович Залыгин:

«Как-то я заметил:

– И что это вы, Александр Трифонович, все ругаете и ругаете в журналах одних и тех же авторов? Раз, другой – это куда ни шло, ну, а сколько же можно, не без конца же?!

И тут же я понял, что разговор будет серьезным и сердитым.

– Надо! Обязательно надо! – начал этот разговор Твардовский. – Плохие книги не потому плохи, что они плохие, это бы полбеды: они – живучие. Рано или поздно они сойдут со сцены, время их разоблачит, но слишком рано этого не бывает почти никогда, а слишком поздно – почти всегда! И эти книги живут, процветают, приносят гешефты, премии, дачи и огромный вред. Мы отчетливо сознаем, как возвышает человека хорошая книга, но как роняет его плохая – не сознаем почти никак!

Кроме того, о них очень трудно писать. О хороших и пишется с легким сердцем, просто и коротко... Ну, например, о Бунине... Об Ахматовой. Они ведь потому еще и хороши, что ясны и отчетливы. Безупречное безупречно само по себе и не требует длинных доказательств. Вы заметили, что положительные рецензии всегда короче отрицательных? Плохая книга стремится снизить до своего уровня даже очень хорошего критика, и вот критик барахтается в этом плохом, а иной раз пускает пузыри. И в литературном деле едва ли не самое главное – разоблачение плохих книг.

– Главное-то, наверное, все-таки создание хороших книг?

– Я говорю не о литературном творчестве, а о литературном деле! Так вот, главная задача Союза писателей и его Секретариата – всячески препятствовать появлению и жизни плохих книг. А я тоже секретарь Правления СП СССР!

– М-да...

– А что? В этом-то все и дело: секретари заседают, принимают и посещают, на писательскую работу у них остается десятая часть того, чем располагает не очень секретарь или совсем не секретарь. А когда их книги становятся рядом и книга секретаря оказывается лучше, это значит, что секретарь в десять раз талантливее своего товарища. Так? Так! Только этот расчет мы не принимаем в расчет. Беда!» [2; 280]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:

«10.X.1954

Вчера – „визит вежливости“ Фадеева с Ангелиной Осиповой (Степановой, женой Фадеева. – *Сост.*). <...> Почитал, говорит, металлургам главы – все не так (в смысле технических неточностей). Какая ерунда! Читатель с величайшей охотой прощает все допущения и неточности, если в главном автор берет его „за зебры“. Жил на даче обкома, один со стряпухой-уборщицей и милицейским постом, на берегу озера 9×7 км, в котором много рыбы и т. п. Не похоже, чтоб ему там работалось. <...> Заговорил о некультурности рабочей молодежи. Я заметил что-то в смысле: подымай выше. Он начал возражать „под стенограмму“. Я так и сказал. Он засупонился и пошел с обычным у него в таких случаях стремлением сбить тебя пафосом идейной выдержанности, отграничивающим тебя от партийной точки зрения. Я промолчал. Проводил их до машины. „Звони ко мне, когда надумаешь, через А. О.“. Не буду.

Какая противоестественность – затеять эту встречу с намерением не коснуться литературных дел, ничего «о том», что болит. Большой человек. Совершенно ясно, что мила ему рыбная ловля, охота („художественный рассказ“ о подбитом им орле), выпивка на свободе от Москвы, а не штатные расписания ФЗУ и т. п., в которых он путается и хочет представить дело так, что вся недолга в этом. Не напишет он романа – и это грустно, и хотя это с самого начала затеи было очевидно, хотя это ему было говорено, нет злорадного торжества – горько.

Человек только не хочет признаться, что он кругом заврался, запутался и особенно подрубил себя попыткой поправить дела наиактуальнейшим романом. Зачем он ко мне приезжал? Зачем он мне, если (на словах, по крайней мере) мы не можем сойтись в важнейших пунктах понимания вещей, если дружбу его, в которой я совсем не нуждаюсь, я мог бы покупать, только подлаживаясь к его „поворотам“». [9, VII; 144–145]

Сергей Павлович Залыгин:

«О книгах, которые Александр Трифонович считал плохими, он говорил сердито и очень сердито». [2; 280]

Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«4.III.1959

В литературном деле самая трудная и решающая форма ответственности, как это ни парадоксально, на первый взгляд, это форма личной ответственности за себя как литератора, т. е. твоя работа, то, что пишешь ты – поэт, беллетрист, очеркист, критик такой-то, – а не Пензенское отделение Союза писателей, не комиссия по...

Это так потому, между прочим, что в литературном деле значение примера, образца решает все. Что такое „течения“, „направления“ и „тенденции“ без имен художников и их произведений, в которых осуществляются или намечаются все эти „тенденции“ и т. п. <...>

Мы ухитряемся читать публично целые доклады, в которых только и есть, что тенденции, хорошие или нехорошие, призывы и... ни произведений, ни авторов – все безымянно. Но литература – дело сугубо поименное.

Труднее всего писателю отвечать за себя, – а не за литературу в целом – это как раз легко, – перед временем, народом, перед коммунизмом.

Что это значит – отвечать?

Выдавать, как говорится, на-гора больше и лучше?

Не совсем так. <...>

Отвечать – не означает быть великим. Великим быть нельзя по собственной воле <...>.

Отвечать – это суметь быть самим собою, быть личностью». [9, IX; 144–145]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Подчас он предъявлял разный счет москвичам и поэтам, живущим вдали от Москвы, в глуши. Помню, я, прочитав в „Новом мире“ очень слабые стихи одного „областного“ поэта, упрекнула при встрече Твардовского за их публикацию. Он отвечал с волнением и жаром:

– Ну да, ну, слабые стихи, сам знаю. Но ведь куда он с ними денется? Ведь вот вы, если я вас не напечатаю, вы пойдете к Вадику Кожевникову, а то и к Феденьке Панферову, и они вам обрадуются, а он куда пойдет? Некуда ему идти. Вот я и напечатал. Потому что понимаю, каково человеку на его месте. И жалею его. А вас не жалею. С вас иной спрос...» [2; 399–400]

Сергей Павлович Залыгин:

«Бывали у Твардовского и уступки. Во всяком случае, одну уступку я наблюдал.

Говорили о поэте, довольно известном, и я высказался в том смысле, что поэт посредственный.

Александр Трифонович подошел ко мне, нагнулся к самому уху:

– Так ведь – старый! Кабы был молодой, я бы с него три шкуры спустил. И устно, и письменно. Но поймите – старый же!» [2; 281]

Алексей Иванович Кондратович:

«Среди поэтов <...> существует мнение, что Твардовскому ничего не нравится в поэзии и он все режет. Это неверно. Есть поэты, которых он любит, с постоянной надеждой он роется в ворохе рукописей и нередко находит в них новые имена, и надежды его порой бывают преувеличенными. Скольких поэтов он все-таки похвалил в самом начале, а они потом не оправдали его ожиданий. „Это моя вина“, – говорит он, но продолжает безостановочные поиски, и надежды его не оставляют. Но он может быть и суров в оценках, многое ему действительно не нравится». [2; 358–359]

Александр Трифонович Твардовский. В записи З. С. Паперного:

«Если не доводить дело до совершенства, то стихотворство занятие, недостойное мужчины. Если мы скажем, что поэзия – идеальный язык, а тот, на котором говорят, – несвершившийся, расклоченный, то поэзия отделяется от разговорной речи. Но поэзия и должна схватить сущее в разговорном языке. „Я вас любил, любовь еще, быть может...“ – это не написано, это *было*, это *записано*. Современные многие стихи – не в том ладе, который живет в разговорной, изустной речи. Во многие стихи я не верю, потому что они *написаны*. Маяковский – как бы я к нему ни относился – обладал естественностью разговорной речи, он понимал выгоду услышанного слова: „Вы ушли, как говорится...“, „Класс, он жажду запивает квасом, класс, он тоже выпить не дурак...“.

Нельзя втягиваться в специфику птичьего языка поэзии. Сама по себе она неправомерна, без того, что творится вокруг.

Вместе с тем поэзия – это высокоорганизованная речь. И она не идет на поводу у растрепанной, недисциплинированной житейской речи. Обороты вроде „в свете решений“, „работает в органах“ – все это как у дьячка „помило“.

А рядом простые люди говорят складно и ладно. Гнусные слова межеумочных интеллигентов: „жилка“, „подтекст“. Жуткое слово „волнительно“.

Поэт вообще не может без языка, приобретенного с молоком матери. Важно иметь хороший подвой. А к нему можно иметь утонченный привой. Межеумочная среда рождает людей без чувства языка. А ведь каждое слово – это образ». [2; 275]

Евгений Захарович Воробьев:

«Стихотворение, даже весьма несовершенное по форме, с шероховатостями, языковыми огрехами, могло вызвать симпатию Твардовского, если он обнаруживал в нем одну-две подлинно поэтических строки. В таких случаях он относился к поэту со строгим дружеским любием. Но он не давал поблажки набившим руку рифмоплетам, авторам аккуратно причисанных, отутюженных или выпретенных, крикливых стихов. Твардовский ненавидел зарифмованную гладкопись». [2; 167]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Я думаю, что в „Новом мире“ печаталось много хороших стихов, и все же Твардовский и поэзия – непростая тема, потому что некоторые из современных поэтов обижались на него: он их не печатал. Виной тому было нередко различие самого подхода к делу. Для Твардовского, как ни дорожил он искусством, жизнь была все же важнее поэзии – самого прекрасного, легучего и восхитительного цветения бытия. Смысл, содержание, то есть попытка понять людей, что с ними происходит и как они живут, собравшись в то объединение, что зовется „обществом“, – вот что составляло для него суть всякой литературы, в том числе и поэтической. И как жизнь для него была первостепеннее поэзии, без которой он тоже, впрочем, не согласился бы существовать, так и „человек“ важнее „поэта“. Иными словами, элитности поэтов он не признавал, и право на поэтическую „невнятицу“ тоже счи-

тал сомнительным. „Как я могу печатать то, чего сам не сумею объяснить, если попросят?“». [4; 151–152]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Он не всегда, а точнее сказать – чаще всего бывал несправедлив к поэзии и к поэтам, не скрывал, да и не умел скрывать своего неприятия большей части того, что появлялось в современной поэзии, своей, я бы даже сказала, предубежденности, раздражения, настороженности. Он словно внутренне ошетиживался, едва столкнувшись с чужими стихами, и это подчас мешало ему быть объективным, и он подчас отвергал настоящее, и это становилось всем очевидным. Но, я думаю, он имел право так себя вести – уж очень сам был самобытен и крупен <...>». [2; 400]

Константин Яковлевич Ваншенкин:

«Когда я сказал к слову, что не знаком с Пастернаком, Твардовский ответил веско: – Не много потеряли». [2; 238]

Алексей Иванович Кондратович:

«В разговорах о поэзии он не выносит высоких слов. Это о нем может сказать „творческий сон“, а вот о писании стихов „творческая работа“ – упаси господь! И рядом с ним нельзя произнести эти слова, никак не соответствующие тому серьезному и мучительному делу, каким по сути своей и является настоящая поэзия». [3; 15]

Петрусь Бровка:

«Твардовский, мне казалось, не любил выступать на больших литературных вечерах и собраниях с чтением своих произведений. Он не гнался за мельканием своей фамилии на бесконечных афишах по какому-либо поводу и без повода. А вот в кругу близких друзей, тех, кому он доверял и кого уважал, любил и почитать, и посоветоваться. <...>

Ну, а если, как я уже говорил, Твардовский не любил выступать на многолюдных вечерах с чтением стихов, то с речами и подавно. Зато если уж выступал на каком-либо ответственном съезде или собрании, то всегда и весьма глубоко, и основательно, и поучительно. В таких выступлениях его ощущались и знание предмета разговора, и понимание будущего». [2; 233]

Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:

«29.I.1964

Твардовский с тоской говорил, что его запрягают в лермонтовский юбилей. „Что у них, других поэтов нету? Почему непременно меня? А я так думаю: вот я выступил на юбилее Пушкина – так это часть судьбы, часть биографии. Но нельзя же по каждому поводу возглавлять юбилейные комитеты и говорить речи о всех подряд классиках“». [5; 189]

Маргарита Иосифовна Алигер:

«Он не умел сдерживать брезгливого отвращения, красноречиво написанного на его лице, когда дело касалось какой-либо литературной шумихи, суеты, всерьез воспринимаемой иными литераторами». [2; 408]

Владимир Яковлевич Лакшин:

«Как-то наш разговор с Твардовским прервал пробившийся к нему пенсионер. Он говорил, что приехал издалека, и настаивал, чтобы Твардовский принял его по неотложному делу. Я сидел в кресле в углу кабинета и стал очевидцем такого диалога:

- Я к вам только на пять минут, хочу задать один вопрос.
- Пожалуйста.
- Если я напишу идейно выдержанный и высокохудожественный роман, вы его напечатаете?
- Нет.
- Почему???
- Потому что тот, кто задает такие глупые вопросы, романа написать не может.
- Но я ведь должен знать заранее, получить какие-то гарантии... Ведь мне придется отдать этому труду два года жизни.
- Вот я и советую вам, не надо отдавать двух лет жизни». [4; 149]

Юрий Валентинович Трифонов:

«Александр Трифонович человек особенный. Он относится к литературе очень страстно, лично.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.